

БЫРОЖАНИНЪ

1902.

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ  
**МАКСА ХОРДАУ**

ВЪ ДВѢНАДЦАТИ ТОМАХЪ.

Съ портретомъ автора и очеркомъ его жизни и дѣятельности.

ПЕРЕВОДЪ СЪ НѢМЕЦКАГО  
подъ редакціей В. Н. МИХАЙЛОВА.

ТОМЪ IV.



Издание Б. К. ФУКСА.  
КІЕВЪ.

---

Дозволено цензурою. Кієвъ, 20-го Марта 1902 года.

---

КІЄВЪ.  
Типографія М. М. Фиха, Б. Васильковская, № 10.  
1902.



*Mit Vordan!*

Вырожденіе.

---

КНИГА ТРЕТЬЯ.

---

ЭГОТИЗМЪ.

(ПРОДОЛЖЕНІЕ).

---

## Фридрихъ Нитцше.

Если въ Ибсенѣ эготизмъ нашель своего поэта, то въ Нитцше мы можемъ видѣть его философскаго истолкователя. Нитцше даетъ теоретическое обоснованіе или нѣчто, претендующее на этотъ титуль, всѣмъ утвержденіямъ различныхъ представителей эготизма — и восхваленію всякой пачкотни чернилами, красками и глиною со стороны парнасцевъ и эстетовъ, и проповѣди нечистоты, преступности, болѣзни, разложенія декадентовъ и демонистовъ, и возвеличенію „желающей“ „свободной“, „самоопредѣляющейіся“ личности Ибсена. Такова, замѣтимъ мимоходомъ, исконн задача философіи. Въ исторіи рода человеческого она играетъ такую же роль, какую сознаніе играетъ въ жизни индивидуума. На обязанности сознанія лежитъ неблагодарный трудъ: подыскать разумныя основанія и ясныя объясненія для влеченій и поступковъ, возникающихъ въ области безсознательнаго. Точно также философія ставитъ своей задачей найти общія, логически-стройныя формулы, которыя объясняли бы всѣ соціальныя и моральныя явленія данной эпохи, обусловленныя экономической, политической и климатической структурой общества. Извѣстное поколѣніе живетъ безъ теоретическихъ мудрствованій по законамъ естественно-исторической необходимости, а философія слѣдуетъ за нимъ по пятамъ, тщательно систематизируетъ разрозненныя черты его внѣшняго и духовнаго облика, его болѣзненнаго и нормальнаго состоянія, методически соединяетъ ихъ въ старательно разграфленную книгу и, поставивъ наконецъ заключительную точку, съ чувствомъ внутренняго удовлетворенія приобщаетъ свою работу въ собраніе узаконенныхъ системъ. Напрасно мы стали бы искать въ философскихъ системахъ чистой истины и дѣйствительныхъ объясненій. Но онѣ служатъ поучительнымъ свидѣтельствомъ усилій человеческого сознанія подыскать требуемыя разумомъ объясненія безсознательныхъ влеченій данной эпохи.

Если вы прочтете произведенія Нитцше отъ доски до доски, у васъ получится впечатлѣніе, будто вы слышите сумасшедшаго, который съ блуждающими глазами, дикими жестами и съ пѣной у рта извергаетъ оглушительный потокъ словъ и по временамъ то раздражается дикимъ смѣхомъ, то обрушивается на васъ самыми непристойными ругательствами, то пускается въ голово-

кружительную пляску, то съ угрожающимъ видомъ и сжатыми кулаками бросается на воображаемаго врага. Поскольку это незаконное словоизверженіе имѣеть вообще какой нибудь смыслъ, въ немъ можно усмотрѣть, какъ основную составную часть, лишь рядъ постоянно повторяющихся галлюцинацій, коренящихся въ въ обманѣ чувствъ и болѣзненныхъ органическихъ процессахъ. По временамъ является ясная мысль, которая, какъ это часто бываетъ у помѣшанныхъ, принимаетъ неограниченно-повелительный, деспотическій характеръ. Нитцше никогда не старается приводить доказательство для подтвержденія своей мысли. Когда въ его мозгъ закрадывается предположеніе о возможности возраженія, онъ высмѣиваетъ его и наконецъ отрѣзываетъ: это—ложь. („Гораздо разумнѣе та... теорія, представителемъ которой является Гербертъ Спенсеръ... Хорошо, по этой теоріи, все то, что доказало свою полезность: благодаря этому она можетъ претендовать на значеніе въ высшей степени цѣннаго, на значеніе цѣннаго само по себѣ. Правда, и этотъ способъ объясненія ложенъ, но само по себѣ это объясненіе психологически допустимо и понятно. (Zur Genealogie der Moral)—„И это объясненіе ложно“. Почему ложно? Потому, что такъ угодно Нитцше. Больше спрашивать читатель не имѣеть никакого права). Впрочемъ, Нитцше безпрестанно противорѣчить почти всѣмъ своимъ диктаторскимъ утвержденіямъ. Сперва онъ заявляетъ одно, а затѣмъ высказываетъ нѣчто совершенно противоположное съ такою же горячностью и энергіею, какъ прежде, и все это большей частью дѣлается въ одной и той же книгѣ, иногда на одной и той же страницѣ. Часто ему представляется вся неосновательность его утвержденія, и тогда онъ дѣлаетъ видъ, что хотѣлъ пошутить надъ читателемъ. („Трудно говорить понятно, въ особенности когда мыслишь и говоришь *gaugasrotogati* среди людей, которые мыслятъ и живутъ иначе, именно какъ *kugmagati* или, въ самомъ благопріятномъ случаѣ, „по способу лягушечьяго хожденія“, „*ma p-deikagati*“,—я же дѣлаю все возможное, чтобы самому быть „неудобопонятнымъ“ <sup>1)</sup>). Что же касается „добрыхъ друзей“, которые всегда любятъ удобство, и въ качествѣ друзей признають за собой право на удобство, то хорошо, съ самаго начала очистить поприще для ихъ недоразумѣній; — и посмѣиваться при этомъ;—или совсѣмъ отдѣлаться отъ этихъ добрыхъ друзей,—и то же посмѣиваться“ <sup>2)</sup>). Далѣе въ томъ же произведеніи онъ говорилъ: „Все, что глубоко, прикрывается личиною, все самое глубокое питаетъ ненависть къ образу и сравненію. Не противоположность ли тотъ настоящій маскарадный костюмъ, въ который облекается скромность божества?“

Особенности нѣкоторыхъ догматическихъ утвержденій Нитцше весьма характерны. Но прежде всего нужно привыкнуть къ

<sup>1)</sup> „Чтобы стать неудобопонятнымъ“ Нитцше прибѣгаетъ къ помощи нѣсколькихъ санскритскихъ словъ. Такой наивный филологической напыщенности можетъ достигнуть съ помощью дешеваго карманнаго словаря любой хвастунъ.

<sup>2)</sup> Фр. Нитцше.—По ту сторону добра и зла.



его манерѣ выражаться. Излишне это, правда, для психіатра, которому подобная манера очень хорошо знакома. Ему часто приходится читать подобныя произведенія; читаетъ онъ ихъ, конечно, не для своего удовольствія, а для опредѣленія степени помѣшательства автора, помѣщаемаго въ домъ умалишенныхъ. Въ другомъ положеніи находится человѣкъ несвѣдущій: его легко собьетъ съ толку шумиха фразъ. Но когда онъ, наконецъ, освоится, когда онъ съумѣетъ уловить руководящую нить, несмотря на барабанный бой и оглушительный свистъ балаганной музыки, несмотря на бурное словоизверженіе, дѣлающее подчасъ невозможнымъ пониманіе основной мысли,—онъ тотчасъ убѣдится, что утвержденія Нитцше представляютъ изъ себя либо буйное безуміе, исключющее всякую возможность разумной критики и возраженія, либо татуированныя, изукрашенные серьгами, кольцами и перьями общія мѣста такого характера, что гимназистка посовѣстилась бы избрать ихъ темой для сочиненія. Чтобы не быть голословнымъ, приведу одинъ—два примѣра изъ тысячи имъ подобныхъ:

„Какъ разъ тамъ, гдѣ мы остановились, находились проѣзжія ворота. Взгляни на эти ворота, карликъ! продолжалъ я: у нихъ двѣ стороны. Здѣсь сходятся двѣ дороги: еще никто не прошелъ по нимъ до конца. Эта длинная улица назадъ: она тянется цѣлую вѣчность. А та длинная улица впередъ—это другая вѣчность. Обѣ эти дороги находятся въ противорѣчій, онѣ сталкиваются:—и сталкиваются онѣ именно здѣсь, у этихъ проѣзжихъ воротъ. Названіе воротъ красуется надъ нами: Мгновеніе. Если бы кто пошелъ по одной изъ этихъ дорогъ дальше—все дальше и дальше: какъ думаешь ты, карликъ, будутъ ли эти дороги находиться въ вѣчномъ противорѣчій?“<sup>1)</sup>

Снимите мыльную пѣну съ этихъ трескучихъ фразъ, и что же получится? Что въ сущности говорятъ эти фразы? То, что настоящій мигъ есть пунктъ, гдѣ соприкасаются прошлое и будущее? Подумаешь, какая глубокая мысль.

„Міръ глубоко и задуманъ глубже, чѣмъ день! Оставь меня! Оставь меня! Я слишкомъ чистъ для тебя! Не дотрогивайся до меня! Развѣ мой міръ не былъ сейчасъ совершеннымъ? Моя кожа слишкомъ чиста для твоихъ рукъ. Оставь меня, глупый, олуховатый душный день! Развѣ полночь не свѣтлѣе? Чистѣйшіе должны быть господами земли, менѣе всего разгаданныя, сильнѣйшія полуночныя души, которыя свѣтлѣе и глубже всякаго дня... Мое несчастье, мое счастье—глубоки, чужой ты день, и однако я не божество, не божественный адъ: глубока его скорбь. Божественная скорбь глубже, ты, чужой міръ! хватайся за божественную скорбь, не за меня! Что я такое! Пьяная сладкозвучная лира,—полуночная лира, колокольная лягушка, которую никто не понимаетъ, но которая должна говорить передъ глухими, въ высшіе люди! Ибо вы меня не понимаете! Прошло! Прошло! О, юность! О, полдень! О, послѣполуденное время! Пришелъ вечеръ, и ночь, и полночь... Ахъ! Ахъ! какъ она смѣется, какъ она хрипитъ и пыхтитъ, эта полночь! Какъ трезво она говоритъ сейчасъ, эта

<sup>1)</sup> Фр. Нитцше.—Такъ говорилъ Заратустра.

пьяная поэтесса! Она должно быть перепила свое опьяненіе? Она стала черезчуръ бодрой? Она пережевываетъ жвачку,—она пережевываетъ во снѣ свою скорбь, эта старая, глубокая полночь, и еще больше свою радость. Именно, радость, хотя скорбь глубока: радость еще глубже сердечной скорби... Скорбь говоритъ: „Стнѣ! пропади, скорбь!“ Радость же хочетъ возврата, хочетъ, чтобы все было вѣчно—одинаковымъ. Скорбь говоритъ: „Сокрушайся, истекай кровью, сердце! Ходи, нога! Крыло, лети! Вверхъ, выше! Скорбь!“ Добро! добро! О, мое старое сердце! Скорбь говоритъ: „Пропади!“ Вы, высшіе люди!... если вы хотѣли когда либо одинъ разъ дважды, если вы говорили когда либо „ты нравишься мнѣ, счастье! Прочь! Мгновенье! то вы хотѣли, чтобы все вернулось! Все снова, все вѣчно, все сцѣплено, слито, слюблено, о, вотъ такъ любили вы мѣръ,—вы, вѣчные, любите его вѣчно и во всякое время, и скорби вы говорите: сгинь, но вернись! Ибо всякая радость хочетъ—вѣчности. Всякая радость хочетъ вѣчности всѣхъ вещей, хочетъ меда, хочетъ дрожжей, хочетъ опьяненной полуночи, хочетъ гробовъ, хочетъ могильныхъ слезъ утѣшенія, хочетъ позлащенной вечерней зарн,—чего только не хочетъ радость! она жаднѣе, сердечнѣе, алчнѣе, ужаснѣе, таинственнѣе всякой скорби, она хочетъ себя, она закусываетъ себя, воля кольца борется въ ней,—радость хочетъ вѣчности всѣхъ вещей, хочетъ глубокой, глубокой вѣчности!“<sup>1)</sup>

Въ чемъ смыслъ этого бѣшеннаго словоизверженія? Всякій хочетъ, чтобы горе сгнуло, а радость была вѣчна! Это удивительное открытіе Нитцше хочетъ сообщить въ своей тирадѣ!

Теперь укажу на нѣкоторыя совершенно ужъ безсмысленныя утвержденія или оборотъ рѣчи:

„Что значитъ жить? жить—значитъ постоянно отталкивать отъ себя то, что готово умереть: жить—значитъ быть жестокимъ и неумолимымъ по отношенію ко всему тому, что слабо и старо въ насъ и не только въ насъ однихъ“<sup>2)</sup>. До сихъ поръ мыслящіе люди всегда думали, что жить значитъ постоянно нѣчто воспринимать; отталкиваніе негоднаго есть только сопутствующее явленіе въ процессѣ обмѣна веществъ. Нитцше своимъ пиенческимъ изреченіемъ сводитъ жизнь на одни лишь утреннія отправления. Нормальные люди съ понятіемъ жизни соединяютъ скорѣе представленіе о столовой, чѣмъ объ укромномъ кабинетѣ уединенія.

„Богъ поступилъ очень тонко, когда, желая стать писателемъ, учился греческому, но не выучился ему хорошо“.

„Совѣтъ и загадка: чтобы союзъ не порвался,—ты долженъ сперва прикусить его“.<sup>3)</sup> Дать какое нибудь истолкованіе этому я положительно не рѣшаюсь.

Приведенныя мѣста въ состояніи дать читателю представленіе о писательской физиономіи Нитцше. Она всегда остается одинаковой въ рядѣ объемистыхъ и незначительныхъ книгъ,

<sup>1)</sup> Фр. Нитцше. Такъ говорилъ Заратустра, часть IV.

<sup>2)</sup> Нитцше.—Радостная паука.

<sup>3)</sup> Нитцше.—По ту сторону добра и зла.

опубликованныхъ имъ. Его произведенія носятъ различныя, по-  
 частъ замѣчательно сумасбродныя заглавія, но ихъ содержаніе  
 вездѣ одно и то же. Можно безъ всякаго ущерба перемѣщать  
 эти заглавія: результатъ получится тотъ же. Это рядъ безсвяз-  
 ныхъ проблесковъ мысли, въ прозѣ и виршахъ, безъ начала,  
 безъ конца. Рѣдко мысль получаетъ у Ницше свое развитіе, рѣдко  
 онъ подрядъ на нѣсколькихъ страницахъ трактуетъ объ одномъ  
 и томъ же съ послѣдовательностью и убѣдительною аргумента-  
 ціей. Ницше, повидимому, имѣлъ обыкновеніе съ лихорадочною  
 поспѣшностью заносить на бумагу все, что приходило ему въ  
 голову; когда собиралось достаточное количество исписанной бу-  
 маги, Ницше отправлялъ ее въ типографію, и такимъ образомъ  
 получалась книга. Онъ самъ съ гордостью называетъ это „афо-  
 ризмами“, а поклонники вмѣняютъ ему въ особую заслугу без-  
 связность рѣчи. <sup>1)</sup> Если говорятъ о системѣ морали Ницше, то  
 не слѣдуетъ думать, что онъ гдѣ нибудь послѣдовательно раз-  
 вилъ таковую. Мы встрѣчаемъ у него во всѣхъ его книгахъ, отъ  
 первой до послѣдней, лишь отдѣльныя, разрозненные взгляды  
 по различнымъ вопросамъ о нравственности, объ отношеніи инди-  
 видуума къ обществу, къ окружающему міру, и эти взгляды можно  
 считать основными. Эти взгляды и есть то, что принято называть  
 философіей Ницше. Его ученики, указанный Каачъ, далѣе  
 Цербстъ <sup>2)</sup> Шельвайнъ <sup>3)</sup> и другіе пытались придать этой мнимои,  
 философіи учителя пѣкоторую форму и единство тѣмъ, что вы-  
 брали изъ его произведеній такія мѣста, которыя хотя бы нѣ-  
 сколько находились между собою въ соотвѣтствіи. Конечно, при-  
 мѣняя этотъ методъ, можно было бы говорить о философіи  
 Ницше, которая была бы прямо противоположна философіи его  
 учениковъ; вѣдь, какъ сказано каждому своему утвержденію  
 Ницше самъ въ другомъ мѣстѣ противорѣчить, и если быть  
 послѣдовательнымъ въ своей недобросовѣстности, выдвигая одни  
 положенія и затѣняя другія, то можно установить у Ницше

<sup>1)</sup> Докторъ Г. Каачъ. Міросозерцаніе Фридриха Ницше. Часть I: культура  
 и нравственность; часть II: искусство и жизнь. Лейпцигъ 1892. См. часть I  
 стр. VI: „Мы привыкли ожидать, чтобы разсужденія о глубочайшихъ пробле-  
 махъ духа носили систематическій характеръ. Ничего подобнаго нѣтъ въ  
 сочиненіяхъ Ницше. Ни одно изъ его произведеній не составляетъ закон-  
 наго цѣлаго, независимаго отъ другихъ твореній автора. Ницше пишетъ  
 почти исключительно афоризмами... Ницше относится съ гордымъ равноду-  
 шіемъ къ читателю, онъ не заботится сдѣлать свободный проходъ въ той  
 изгороди, которая плотно окружаетъ его духовныя творенія. Доступъ къ  
 нимъ дается съ большимъ трудомъ и т. д. Ницше самъ, хотъ и въ туманной  
 формѣ, сознается, какъ онъ работалъ: „Меня приводитъ въ смущеніе и озлоб-  
 леніе всякое писаніе. Оно является для меня неизбежнымъ зломъ—тогда  
 зачѣмъ же ты пишешь? Откровенно говоря, мой милый, пишу я потому, что  
 это является для меня единственнымъ средствомъ избавиться отъ своихъ  
 мыслей“.—Но зачѣмъ ты желаешь избавиться отъ нихъ?—Почему? Собственно  
 говоря, я не то что желаю, а попросту долженъ избавиться отъ нихъ. („Ра-  
 достная наука“).

<sup>2)</sup> Dr. Max. Zerbst. Nein und Ja. Leipzig 1892.

<sup>3)</sup> Robert Schellwein, Max Stirner und Friedrich Nietzsche, Erscheinungen des modernen Geistes und das Wesen des Menschen. Leipzig 1892.

либо одно философское міросозерцаніе, либо другое рѣзко противоположное.

Ученіе Нитцше, считаемое его учениками истиннымъ, подвергаетъ критикѣ основы морали, изслѣдуетъ вопросъ о возникновеніи понятія добра и зла, производитъ оцѣнку для индивидуума и общества, того, что нынѣ принято считать добродѣтелью и порокомъ, объясняетъ происхождение чувства совѣсти и пытается дать представленіе о цѣляхъ человѣческаго развитія, иными словами, объ идеалѣ человѣка, о „сверхъчеловѣкѣ“. Я постараюсь представить сжатое изложеніе этой теоріи; постараюсь притомъ излагать его собственными словами, отбрасывая однако его дикія, безмысленныя фразы.

Существующая мораль „возвеличиваетъ, обоготворяетъ суживаетъ анти-эгоистическіе инстинкты,—инстинкты состраданія самоотреченія и самопожертвованія“. Но эта мораль состраданія представляетъ для человѣчества „величайшую опасность; она означаетъ начало конца, застой въ развитіи, озирающуюся назадъ усталость, волю, направленную противъ жизни“. „Необходимо предпринять критику моральныхъ цѣнностей. Цѣнность этой цѣнности сама по себѣ является еще вопросомъ. До сихъ поръ не сомнѣвались считать добро болѣе цѣннымъ, чѣмъ зло, болѣе цѣннымъ въ смыслѣ прогресса, полезности и процвѣтанія по отношенію къ данному человѣку и его будущему. Какъ? А вдругъ истина заключается въ обратномъ? Какъ? А вдругъ добро—симптомъ регресса, симптомъ опасности и заблужденія, вдругъ добро—ядъ, наркотическое средство, благодаря которому настоящее живетъ на счетъ будущаго? Быть можетъ, оно безопасно, но зато и безконечно низменнѣе? Быть можетъ, именно мораль служила бы тогда причиной, по которой человѣческой типъ не достигъ возможной для него высшей ступени могущества и величія? Быть можетъ, именно мораль и явилась бы опасностью отъ опасностей?“

На эти вопросы, которые мы находимъ въ предисловіи къ книгѣ „Генеалогія морали“, Нитцше даетъ отвѣтъ своимъ изслѣдованіемъ представленія о возникновеніи существующей морали.

Въ началѣ человѣческой цивилизаціи онъ видитъ „хищное животное, великолѣпное, бѣлокурое, гонящееся за добычей“; эти „пущенныя на волю хищныя животныя были свободны отъ всякихъ социальныхъ обязанностей; въ невѣденіи своей хищнической совѣсти они смѣло, съ полнымъ душевнымъ спокойствіемъ и равновѣсіемъ, какъ будто бы дѣло шло о простомъ ученomъ спорѣ, дѣлали свое дѣло убійства, сожженія, безчестія, мученія?! Бѣлокурыя животныя образовали высшія расы. Они нападали на менѣе значительныя, преодолевали ихъ и превращали въ рабовъ. „Стадо бѣлокурыхъ, хищныхъ животныхъ, раса завоевателей и господъ, съ собственной воинственной организаціей (слѣдуетъ обратить вниманіе на это слово, „организація“, къ которому мы еще возвратимся), съ способностью къ организаціи другихъ, накладывало свои страшныя лапы на населеніе, быть можетъ превосходящее побѣдителей числомъ, но совершенно еще кочующее, и образовало такимъ образомъ государство. Съ бредомъ, будто

государство возникло путемъ договора, дѣло давно покончено. Зачѣмъ договоры тому, кто способенъ повелѣвать, кто по самой природѣ своей господинъ, кто могучъ въ своихъ желаніяхъ и дѣйствіяхъ?”

Въ возникшемъ такимъ путемъ государствѣ оказались двѣ расы: раса побѣдителей—господь и раса побѣжденныхъ—рабовъ. Моральныя понятія создала вначалѣ раса господь. Она создала различіе между добромъ и зломъ. „Хорошо“ было для нея тоже, что благородно, „дурно“ то, что низменно; „хорошимъ“ она считала всѣ свои отличительныя особенности, „дурнымъ“—особенности другой расы. „Хорошимъ“ считалась жестокость, суровость, гордость, мужество, презрѣніе къ опасности, восторгъ предъ отвагой, полнѣйшая безпечность; а „дурнымъ“, достойнымъ презрѣнія, считали „труса, боязливаго, мелочнаго думающаго объ узкой пользѣ; также презирали недовѣрчиваго съ его косымъ взглядомъ, унижающагося, людей, съ собачьими замашками, позволяющими дурно обращаться съ собою, презирають льстецовъ, главнымъ же образомъ лгуновъ“. Такова господская мораль. Коренное значеніе слова, которое выражаетъ теперь понятіе „добро“, доказываетъ, что понимали подъ „добромъ“ въ эпоху торжества господской морали: „Латинское *bonus* я склоненъ считать ведущимъ свое начало отъ слова „воинъ“, такъ какъ я думаю *bonus* вполнѣ вѣрно образуется отъ *duonus* (рядъ таковъ: *bellum* = *duellum* = *duen* = *lum*, откуда, повидимому, мы и получаемъ *duonus*), *Bonus* означало слѣдовательно человѣка раздора, человѣка раздробленія (*Entzweiung*—*duo*), человѣка войны. Вотъ что въ старомъ Римѣ дѣлало человѣка „хорошимъ“.

Побѣжденная раса имѣетъ, конечно, свою противоположную мораль,—мораль рабовъ. „Рабъ смотритъ неблагосклонно на добродѣтель могущественнаго: онъ относится скептически и подозрительно, у него является утонченное недовѣріе ко всему „хорошему“, что тамъ почитается,—онъ желалъ бы убѣдить себя, что и самое счастье тамъ не настоящее. Тутъ, наоборотъ, открываютъ и озаряютъ свѣтомъ качества, служащія для облегченія страждущихъ: здѣсь почитаются состраданіе, рука помощи, теплое сердце, терпѣніе, покорность, ласковость—ибо здѣсь это единственныя качества и почти единственныя средства, помогающія переносить тягость существованія. Рабская мораль—мораль полезности“.

Одно время обѣ расы существовали вмѣстѣ, вѣрнѣе, одна подъ властью другой. Но затѣмъ произошло нѣчто необычайное: рабская мораль возстала противъ морали господь, побѣдила, низвергла послѣднюю и заняла ея мѣсто. Произошла новая оцѣнка всѣхъ моральныхъ понятій (на сумасбродномъ языкѣ. На нашемъ это называется „переоцѣнкой всѣхъ цѣнностей“). Все, что въ морали господь считалось хорошимъ, получило теперь названіе дурного, и наоборотъ. Слабость стала преимуществомъ, жестокость—преступленіемъ, добродѣтелью начали признавать самопожертвованіе, состраданіе чужому горю, самоотреченіе. Произошло то, что Нитцше называетъ „возстаніемъ рабовъ въ морали“. Евреи совершили это чудо перемѣны цѣнностей. Ихъ пророки слили въ одно

понятіе „богатство“, „безбожіе“, „насиліе“, „чувствєнность“ и въ первый разъ заклеили позоромъ слово „міръ“. Въ этой пере-мѣнѣ цѣнностей (согласно которой въ словѣ „бѣдный“ должно усматривать много словъ, напริมѣръ, „другъ“, заключается значеніе еврейскаго народа“.

Еврейское „возстаніе рабовъ въ морали“ было местию по отношенію къ расѣ господъ, долго угнетавшихъ евреевъ, а оружіемъ этой мести явился Спаситель. „Не окольнымъ ли путемъ, не при помощи ли кажущагося своего противника—Спасителя достигъ Израиль конечной цѣли своей возвышенной жажды мести? Не является ли черной магіей истинно-великой политики мести, дальновидной, подземной, медленно дѣйствующей, предусмотрительной мести тотъ фактъ, что Израиль самъ предъ всѣмъ міромъ отрекся, какъ отъ смертнаго врага, отъ орудія своей мести, распялъ его даже на крестѣ ея тѣмъ, чтобы „весь міръ“, т. е. всѣ противники Израиля прямо пошли на эту приманку? Можно ли было придумать болѣе утонченную, болѣе опасную приманку? Нѣчто такое, что равнялось бы привлекающей, опьяняющей, губительной силѣ символа „святого креста“, что равносильно было бы ужасному парадоксу о „Богѣ на крестѣ“, что равнялось бы мистеріи непостижимой, крайней жестокости и самораспятія Бога для спасенія человѣчества? Вѣрно, по крайней мѣрѣ, то, что подъ этимъ знаменемъ Израиль своей местию и переоцѣнкой всѣхъ цѣнностей одерживалъ и одерживаетъ верхъ надъ всѣми другими болѣе высокими идеалами!“

Я считаю необходимымъ обратить въ данномъ случаѣ особое вниманіе читателя и просить его постараться составить себѣ представленіе на основаніи этого потока словъ. Итакъ: Израиль хотѣлъ отомстить всему міру; для этого онъ рѣшилъ распять Спасителя на крестѣ и тѣмъ положить начало новой морали. Кто же былъ этотъ Израиль, который составилъ и выполнилъ этотъ планъ? Какое нибудь учрежденіе, либо должностное лицо или народное собраніе? Подвергся ли предварительно этотъ планъ всеобщему обсужденію и одобренію, прежде чѣмъ „Израиль“ привелъ его въ исполненіе? Нужно постараться въ деталяхъ ясно представить себѣ этотъ процессъ, изображаемый Нпцише заранѣе выработаннымъ и вполне сознательнымъ, чтобы вмѣстѣ съ тѣмъ ясно понять все безуміе, заключающееся въ приведенныхъ нами словахъ.

Со времени еврейскаго возстанія рабовъ въ морали жизнь, которая была до тѣхъ поръ наслажденіемъ, по крайней мѣрѣ, для сильныхъ, смѣлыхъ, благородныхъ господъ, превратилась въ настоящее мученіе. Послѣ этого возстанія царить неестественность, при которой человѣкъ становится меньше, слабѣе, вульгарнѣе и близится постепенно къ вырожденію. Въдѣ основной инстинктъ нормальнаго человѣка не самоотреченіе и состраданіе, а наоборотъ эгоизмъ и жестокость. „Сами по себѣ обида, насиліе, эксплуатація, уничтоженіе не являются чѣмъ то „несправедливымъ“; жизнь по самому существу своему наноситъ обиду, совершаетъ насиліе, подвергаетъ эксплуатаціи и разрушенію; такова она въ своихъ основныхъ функціяхъ, и иной ее нельзя себѣ представить. Правовой порядокъ... былъ бы прин-

ципомъ враждебнымъ жизни, разлагающимъ челоуѣка, разрушающимъ его будущее; онъ явился бы признакомъ усталости, по-таенной дорогой къ небытію“.

„Теперь, даже подѣ научной маской, всюду мечтаютъ о грядущихъ состояніяхъ общества, лишенныхъ характера эксплуатаціи:—въ моихъ ушахъ это звучитъ, какъ обѣщаніе изобрѣсти жизнь, воздерживающуюся отъ всякихъ органическихъ функцій. „Эксплоатація“ принадлежитъ не испорченному или несовершенному и примитивному обществу; она принадлежитъ къ существу живого, какъ органическая основная функція“<sup>1)</sup>.

Итакъ, основнымъ инстинктомъ челоуѣка является жестокость. Въ новой морали рабовъ она не находитъ себѣ мѣста; однако искоренить природный инстинктъ невозможно, онъ постоянно будетъ живъ и требовать себѣ удовлетворенія, и вотъ попытались найти ему другой исходъ: „Всѣ инстинкты, которые не проявляются наружу, обращаются внутрь. Тѣ страшные бастионы—во главѣ ихъ нужно поставить наказаніе,—при помощи которыхъ государство защищало себя отъ старинныхъ инстинктовъ свободы, привели къ тому, что всѣ эти инстинкты дикаго свободно блуждающаго челоуѣка обратились внутрь, противъ самаго челоуѣка. Вражда, жестокость, жажда преслѣдованія, нападенія, измѣненія разрушенія—все это обратилось противъ носителя этихъ инстинктовъ, и вотъ тутъ то кроется приключеніе „нечистой совѣсти“. Челоуѣкъ, который за недостаткомъ внѣшнихъ враговъ и сопротивленія, былъ сдавленъ однообразіемъ и размѣренной правильностью, нетерпѣливо самъ рвалъ, преслѣдовалъ, кусалъ, истязалъ это животное, которое съ яростью бросалось на прутья своей клѣтки, куда его усадили для укрощенія, которое ударяясь объ эти прутья получало однѣ лишь раны, которое жаждало шири пустыни, которое вынуждено было придумывать приключенія, превращать себя въ мечь собственной пытки—этотъ дуракъ, этотъ тоскующій, отчаявшійся узникъ былъ изобрѣтателемъ „нечистой

<sup>1)</sup> Эту вздорную софистику, отождествляющую жизнь съ эксплуатаціей, я опровергъ еще раньше, чѣмъ Нитцше изложилъ ее въ своихъ произведеніяхъ („Къ генеологій морали“. „По ту сторону добра и зла“). Въ своемъ сочиненіи „Условная ложь культурнаго челоуѣчества“, я говорилъ слѣдующее: „Эту фразу (собственность—воровство) лишь тогда можно назвать вѣрной, если стать на софистическую точку зрѣнія, что все существующее живетъ лишь для себя, и изъ факта своего существованія почерпаетъ право принадлежать самому себѣ. Исходя изъ такой точки зрѣнія можно дѣйствительно утверждать, что челоуѣкъ крадетъ сорванную былинку, крадетъ воздухъ, которымъ дышитъ, рыбу, которую поймаетъ; совершаетъ въ такомъ случаѣ кражу и ласточка, проглатывая муху, совершаетъ кражу и личинка майскаго жука. съѣдан древесный корень; вообще наша планета населена въ такомъ случаѣ архимонетниками, воруетъ вообще все, что живетъ, т. е. все, что воспринимаетъ извѣстныя вещества, ему самому не принадлежащія. Единственный на земномъ шарѣ образчикъ честности является лишь слитокъ платины, который для своего окисленія не прибѣгаетъ къ поглощенію кислорода извнѣ. Но, нѣтъ. Собственность основанная на приобрѣтеніи, т. е. на обмѣнѣ извѣстнаго количества труда на соответственное количество дѣнностей, ни въ какомъ случаѣ не есть воровство“. Если здѣсь замѣнить вездѣ слово „воровство“, употребленнымъ Нитцше словомъ „эксплоатація“, то онъ могъ почерпнуть здѣсь отвѣтъ на свой софизмъ.

совѣсти“. „Эта жажда самоистязанія, эта ушедшая внутрь жестокость загнаннаго въ себя человѣка-звѣря, который избобрѣлъ „нечистую совѣсть“, чтобы причинять себѣ боль, послѣ того, какъ закрыть былъ естественный исходъ для этого желанія—привели къ понятію о грѣхѣ и винѣ. „Мы наслѣдники длящейся уже тысячулѣтія вивисекціи совѣсти и самоистязанія“. Но судопроизводство, наказаніе „такъ называемыхъ“ преступниковъ, большая часть искусства, трагедія въ особенности, являются формами, въ которыхъ можетъ еще проявляться первичная жестокость.

Мораль рабовъ съ ея „аскетическимъ идеаломъ“ самоподавленія и презрѣнія къ жизни, съ ея чувствительнымъ избобрѣтеніемъ совѣсти были тѣми средствами, благодаря которымъ рабы отомстили господамъ; она обуздала мощнаго хищнаго человѣка-звѣря, создала лучшія условія существованія для малыхъ и слабыхъ, для толпы, для стаднаго животнаго, но человѣчеству въ цѣломъ она принесла вредъ, затормозивъ свободное развитіе высшаго человѣческаго типа. Именно насчетъ разрушительнаго дѣйствія морали рабовъ нужно отнести „общее выраженіе человѣка, низведеніе его на степень того, что является идеаломъ социалистически настроенныхъ болвановъ и пошляковъ, что они называютъ „человѣкомъ будущаго“, умаленіе человѣка до стаднаго животнаго, превращеніе его въ животнаго карлика“.

Чтобы поднять человѣка до высшаго могущества, необходимо возвратъ къ природѣ, къ морали господъ, къ разнузданности жестокости. „Благо большинства и благо меньшинства представляютъ два противоположныхъ критерія; считать первое болѣе высокимъ критеріемъ мы представляемъ наивнымъ англійскимъ біологамъ“. Въ противоположность ложному старому лозунгу о преимуществахъ большинства, въ противоположность желанію къ пониженію, уравниенію, къ движенію человѣчества внизъ мы должны провозгласить страстный восхитительный лозунгъ о преимуществахъ меньшинства. Какъ бы въ видѣ послѣдняго указанія иного пути, появился Наполеонъ, этотъ самый одинокій поздно родившійся человѣкъ, который когда либо существовалъ. Наполеонъ явился воплощеніемъ проблемы о высококомъ идеалѣ, онъ явился синтезомъ нечеловѣка и сверхъ-человѣка“.

Духовно свободный человѣкъ долженъ стать по „ту сторону добра и зла“; этихъ понятій не должно существовать для него; свои влеченія и поступки онъ цѣнитъ по тому значенію, какое оно имѣютъ для него самого, а не для другихъ, для стада; онъ дѣлаетъ то, что доставляетъ ему удовольствіе, дѣлаетъ и тогда, преимущественно даже тогда, когда это мучить, вредить, даже уничтожаетъ другихъ. Онъ руководится тайнымъ принципомъ древнихъ ассасиновъ: „Ничего нѣтъ истиннаго, все позволено“. Только придерживаясь этой новой морали человѣчество будетъ наконецъ въ состояніи произвести сверхъ-человѣка“. Тогда мы найдемъ самый зрѣлый плодъ—индивидуума-сюверена, равнаго самому лишь себѣ, индивидуума, освободившагося отъ обыденной нравственности, индивидуума автономнаго и сверхъ-нравственнаго (такъ какъ „нравственность“ и „автономія“ взаимно другъ друга исключаютъ), словомъ, то будетъ человѣкомъ соб-



ственной, независимой воли“. Въ поэтической формѣ ту же мысль выражаетъ Ницше въ „Заратустрѣ“. „Человѣкъ—золъ, такъ говорятъ въ утѣшеніе мнѣ мудрѣйшіе! О, если бы это только была теперь правда! Ибо зло—это лучшая сила человѣка. Человѣкъ долженъ стать лучше и хуже, говорю я. Самое злое необходимо для высшаго блага сверхъ-человѣка. Это лишь учителю малыхъ людей могло казаться хорошимъ терпѣть за грѣхи людей. А я радуюсь величайшему грѣху, радуюсь какъ величайшимъ утѣшеніемъ для себя“.

Такова моральная философія Ницше, насколько ее можно, оставляя въ сторонѣ противорѣчія, прослѣдить по отдѣльнымъ находящимся въ соотвѣтствіи мѣстамъ его произведеній (именно: „Человѣческаго слишкомъ человѣческаго“, „По ту сторону добра и зла“ и „Генеалогія морали“). Я на время отнесусь къ ней серьезно и подвергну ее критикѣ, прежде чѣмъ приводить другія воззрѣнія Ницше, діаметрально противоположныя указаннымъ.

Прежде всего рассмотримъ его антропологическія воззрѣнія. Человѣкъ первоначально былъ свободно блуждающимъ, одинокимъ хищникомъ; его основнымъ инстинктомъ былъ эгоизмъ и совершенное пренебреженіе къ себѣ подобнымъ. Это положеніе противорѣчитъ всему тому, что мы знаемъ изъ исторіи первобытнаго человѣчества. Кухонные отбросы человѣка четверичнаго періода, открытые и изслѣдованные въ Даніи Синструпомъ, имѣютъ около трехъ метровъ въ ширину и указываютъ на многочисленное собраніе людей. Залежи лошадиныхъ костей въ Солотре настолько обширны, что само собою устраняется предположеніе, чтобы одинъ охотникъ или даже немногочисленная группа въ состояніи была загнать въ одно мѣсто столько лошадей и здѣсь умертвить ихъ. Насколько нашъ взоръ можетъ проникнуть въ первобытныя времена, онъ всюду видитъ человѣка стаднымъ животнымъ, которое не могло бы поддерживать своего существованія, если бы не обладало инстинктами, предполагающими жизнь въ обществѣ, инстинктами сочувствія (симпатіи) и извѣстной степени самоотверженія. Эти инстинкты мы встрѣчаемъ уже у обезьянъ, и если они какъ разъ отсутствуютъ у породы, наиболее похожихъ на человѣка, у орангутанга и гиббона, то это служитъ, по мнѣнію нѣкоторыхъ изслѣдователей, доказательствомъ, что эти породы выродились и находятся на пути къ вымиранию. Невѣрно, слѣдовательно, утвержденіе, будто человѣкъ когда либо былъ одиноко блуждающимъ звѣремъ“.

Теперь рассмотримъ историческое утвержденіе. Въ началѣ у людей первенствовала господская мораль, которая признавала добромъ эгоизмъ и насиліе, зломъ—всякое самоотреченіе. Ниспроверженіе этой опѣнки чувствъ и поступковъ было дѣломъ „возстанія рабовъ“. Чтобы отомстить своимъ угнетателямъ—господамъ, этимъ „бѣлокуримъ звѣрямъ“, евреи изобрѣли „аскетическій идеалъ“, т. е. мораль борьбы съ страстями и презрѣнія къ плотскимъ наслажденіямъ, мораль состраданія и любви къ ближнему. Я уже указывалъ на всю абсурдность предположенія о существованіи у еврейскаго народа выработаннаго сознательнаго плава мщенія. Затѣмъ, вѣрно ли, что современная мораль съ ея поня-

тіями о добрѣ и злѣ изобрѣтена евреями, что она направлена противъ „бѣлокурыхъ звѣрей“, что она означаетъ походъ рабовъ противъ расы господь? Основныя положенія современной морали, несправедливо называемой христіанскою, выражены въ буддизмѣ за шесть вѣковъ до возникновенія христіанства. Ихъ возвѣстилъ Будда, не рабъ, а сынъ короля, и они явились моралью не рабовъ, не угнетенныхъ, а моралью господствующей касты браминовъ. Приведемъ нѣкоторыя моральныя положенія буддизма, которыя мы беремъ изъ индійской „Даммапада“<sup>1)</sup> и китайскаго „Фо-со-гинъ-чанъ-кинга“<sup>2)</sup>. „Не говори ни съ кѣмъ сурово“ („Дхаммапада“, стихъ 133). „Будемъ жить счастливо; среди тѣхъ, которые насъ ненавидятъ, будемъ свободны отъ ненависти“ (стихъ 197). „Такъ какъ онъ чувствуетъ состраданіе ко всякому живому существу, то его называютъ человѣкомъ—арія, т. е. святымъ (ст. 27). „Будь всегда остороженъ со своими мыслями“ (321). „Самообладаніе всегда и во всемъ—благо“. „Я называю браминомъ того, кто терпѣливо переноситъ брань и удары, хоть и свободенъ отъ всякаго грѣха.“ „Будь милостивъ ко всему живущему“ (Fo-sho-hing-tsan-king. (ст. 2024) „Если ты будешь бороться съ врагомъ посредствомъ насилія, то ты только усилишь его вражду; борись съ нимъ при помощи любви, и ты потомъ не пожнешь никакихъ страданій“ (2241). Что же это мораль рабовъ или мораль господь? Что это, возрѣнія блуждающихъ звѣрей или людей, живущихъ въ обществѣ, обладающихъ способностью къ состраданію и самопожертвованію? И возникли эти возрѣнія не въ Палестинѣ, а въ Индіи, именно въ странѣ арійцевъ завоевателей, да еще въ Китаѣ, гдѣ тогда вообще не было завоевателей. Самопожертвованіе для другихъ, состраданіе и сочувствіе являются будто бы продуктами еврейской рабской морали. Но въ такомъ случаѣ, кѣмъ считать ту геройскую обезьяну, о которой разказываетъ, со словъ Брема, Дарвинъ<sup>3)</sup>: еврейскимъ рабомъ, который возсталъ противъ господствующей расы бѣлокурыхъ звѣрей?

Подъ „бѣлокурыми звѣрями“ Нитцше очевидно подразумѣваетъ германцевъ эпохи переселенія народовъ. Они внушили ему представленія о блуждающихъ хищникахъ, которые напали на болѣе слабыхъ, чтобы дать удовлетвореніе своей жаждѣ крови и разрушенія. Этотъ хищникъ никогда не вступалъ въ договоръ, такъ какъ всякій, кто „выступаетъ могучимъ въ своемъ желаніи

<sup>1)</sup> The sacred books of the East. Translated by various Oriental Scholars and edited by F. Max Müller. The Clarendon Press, Oxford. First Series. Vol X: Dhammapada, by F. Max Müller, and Sutta-Nipata, by V. Fauslöll.

<sup>2)</sup> The sacred of the East etc. Vol XIX: Fo-sho-hing-tsan-king. by Rev S. Beal.

<sup>3)</sup> Чарльзъ Дарвинъ. Происхожденіе человѣка и половой отборъ. Стр. 70. „Всѣ павіаны уже взобрались на гору, кромѣ одной молодой, приблизительно шестимѣсячной обезьянки, которая съ громкимъ и жалобнымъ крикомъ вскочила на обломокъ скалы и была немедленно окружена собаками. Тогда самый большой изъ самцовъ, настоящей герой, снова спустился съ горы, медленно подползъ къ дѣтенышу, приласкалъ его и торжественно увелъ съ собою. Собаки были такъ удивлены, что имъ не пришло въ голову броситься на него“.

и дѣйствию, не заботится о договорѣ<sup>1)</sup>. Однако же исторія говоритъ намъ, что „бѣлокурый звѣрь“, т. е. германецъ эпохи переселенія народовъ, котораго не затронуло еще „возстаніе рабовъ въ морали“, былъ сильнымъ, по миролюбивымъ крестьяниномъ, который велъ войну не ради наслажденія убійствомъ, а для того, чтобы пріобрѣсти площадь земли для воздѣлыванія, который всегда пытался уладить дѣло мирнымъ договоромъ, прежде чѣмъ взяться за мечъ<sup>2)</sup>. И этотъ же „бѣлокурый звѣрь“ еще задолго, до того, какъ проникъ къ нему „аскетическій идеаль“ усвоилъ себя взглядъ, что высшей славой человѣка является полное отреченіе отъ собственнаго „я“, готовность жертвовать собою за другихъ, за вождей.

Совѣсть будто бы есть, „обращенная внутрь жестокость“. Человѣкъ, который имѣетъ непреодолимую потребность мучить, истязать, удовлетворяетъ ее на самомъ себѣ, когда не можешь этого сдѣлать на другихъ<sup>3)</sup>. Если бы это было вѣрно, то порядочный, добродѣтельный человѣкъ, который не можетъ путемъ преступленія удовлетворить своего мнимо-коренного инстинкта, долженъ былъ бы мучиться угрызеніями совѣсти. Наоборотъ, преступникъ, дающій просторъ своему инстинкту, былъ бы свободенъ отъ подобныхъ угрызеній, отъ необходимости подвергать себя самонистязанію. Подтверждаетъ ли наблюденіе эти слова Нитцше? Приходилось ли наблюдать, чтобы добродѣтельный человѣкъ, не давший воли своимъ жестокимъ инстинктомъ, мучился угрызеніями совѣсти? Наоборотъ, ни встрѣчаются ли послѣдніи именно у тѣхъ, которые являются рабами своихъ инстинктовъ, которые поступали жестоко по отношенію къ другимъ? Нитцше говоритъ<sup>4)</sup>: „Настоящіе угрызенія совѣсти преступниковъ—чрезвычайно рѣдкое явленіе. Тюрьмы, исправительные дома—среда наименѣе всего благопріятная для этого своего рода гложущаго червя“. Этимъ, думаетъ Нитцше, наилучше подтверждается его мысль. Но это положеніе Нитцше доказываетъ, что у людей, попавшихъ въ тюрьму, дурные инстинкты достигли особенно высокаго развитія. Въ тюрьмѣ они не находятъ возможности проявить эти инстинкты. слѣдовательно, у нихъ, казалось, угрызенія совѣсти должны были, по теоріи Нитцше,

1) Фр. Нитцше. Генеалогія морали.

2) Gustav Freytag. Bilder aus der deutschen Vergangenheit. (Картинны германскаго прошлаго): „Римскій консулъ Папирусъ Карбо запретилъ пришлецамъ (кимврамъ и тевтонамъ) пребываніе въ этой мѣстности, такъ какъ коренные обитатели ея были друзьями римскаго народа. Пришлецы извѣстались своимъ незнаніемъ о томъ, что туземцы находятся подъ римскимъ покровительствомъ, и выразили готовность немедленно оставить страну... Кимвры избѣгали войны, они убѣдительно просили консула Силана отвести мѣсто для поселенія, обѣщая за это нести воинскую повинность... Пришлецы опять таки не вторглись въ римскую провинцію, а отправили въ сенатъ посольство и повторили просьбу объ отводѣ земли для поселенія... Затѣмъ побѣдоносные германцы снова послали пословъ къ предводителю другого войска, въ третій разъ искали мира, просили земли и сѣмянъ для посѣва“.

3) Фр. Нитцше. Генеалогія морали.

4) Ibid.

быть особенными сильными, но Нитцше увѣряетъ насъ, что такія угрызенія „приходится тамъ наблюдать очень рѣдко“. Отсюда вытекаетъ, что утвержденіе Нитцше представляетъ горячечный бредъ и ничего болѣе, и даже не заслуживаетъ быть серьезно противопоставленнымъ тому толкованію слова „совѣсть“, которое даетъ Дарвинъ<sup>1)</sup> и которое раздѣляютъ теперь всѣ моралисты.

Разсмотримъ еще филологическіе аргументы Нитцше. *Вопус* должно было первоначально означать *duonus*, такимъ образомъ, „человѣка раздора, разлада (*Entzweigung—duo*), человѣка войны“<sup>2)</sup>. Въ доказательство онъ приводитъ рядъ: „*bellum=duellum=duen-lum*“. Но вѣдь слово *duen-lum*, какъ и *duonus*, нигдѣ не встрѣчается, а свободно измышлено самимъ Нитцше. Стоитъ обратить вниманіе на этотъ своеобразный методъ: Нитцше изобрѣтаетъ слово *duonus*, котораго въ самомъ дѣлѣ нѣтъ, выводитъ отсюда другое несуществующее слово *duen-lum* и всѣмъ этимъ пользуется въ видѣ аргумента для своихъ положеній. Филологіи Нитцше въ данномъ случаѣ стоитъ на ряду съ той, которая умудрилась отъ греческаго слова „лисица—*alor ex*“ образовать такое же нѣмецкое „*fuchs*“ (при помощи набора словъ совершенно различнаго корня: *lor ex=lor ex=rex=rix=rix=fechs=fichs=fuchs*). Далѣе, Нитцше очень гордится своимъ открытіемъ, а именно тѣмъ, что понятіе „долгъ“ онъ образовалъ отъ очень узкаго понятія „долги“. Предположимъ, что это открытіе вѣрно. Что же выигрываетъ отъ этого его теорія? Вѣдь его открытіе доказываетъ лишь, что матеріальное и ограниченное вначалѣ понятіе съ теченіемъ времени стало болѣе широкимъ и благороднымъ. Но этого процесса никто и не думаетъ оспаривать? Этого во всякомъ случаѣ не станетъ дѣлать всякій, кто хоть немного знакомъ съ исторіей культуры, которая приводитъ намъ много примѣровъ подобнаго развитія понятій. Развѣ въ первобытную эпоху словамъ „любовь, дружба“ придавали такой же утонченный и многообразный смыслъ, какъ теперь. Вполнѣ возможно, что первое представленіе о „долгѣ“ было связано у человѣка съ сознаніемъ своей обязанности возратить ссуду. Но и такое понятіе о долгѣ, даже въ смыслѣ матеріальнаго обязательства, не могло возникнуть у „бѣлокураго звѣря“ или у „жестоката хищника“. Ибо это понятіе предполагаетъ договорныя отношенія, признаніе права собственности, уваженіе чужой личности; оно невозможно, если бы не существовало желанія оказать услугу ближнему, если бы не было увѣренности въ возможности

<sup>1)</sup> Ч. Дарвинъ. Происхожденіе человѣка и половой отборъ. „Какъ скоро умственные способности достигли высокаго развитія, образы прошлыхъ дѣйствій и побужденій должны были постоянно носиться въ мозгу каждаго недѣльнаго; и то чувство неудовлетворенности, которое постоянно слѣдуетъ за неудовлетвореніемъ инстинктовъ, должно было возникать во всѣхъ случаяхъ, когда животное видѣло, что сильныя и присущія ему животныя инстинкты уступили какому либо другому инстинкту, болѣе живому въ ту минуту, но не столь сильному по своей природѣ и не оставляющему за собою столь живыхъ впечатлѣній. Ясно, что многія инстинктивныя желанія, напр., голодь, кратковременны по своей природѣ и не оставляютъ долгаго или живого воспоминанія, развѣ они удовлетворены“.

<sup>2)</sup> Генеологія морали.

полученія взаимной услуги. Всѣ эти чувства образуютъ уже мораль, простую, но настоящую мораль, истинную „мораль рабовъ“ съ ея сознаниемъ долга, съ ея состраданіемъ и самоограниченіемъ, а не „господскую мораль“—мораль эгоизма, разбоя, жестокаго насилія и разнузданной страсти! Если же нѣкоторыя отдѣльныя слова, какъ нѣмецкое „дурной“ (schlecht), употребляются въ другомъ смыслѣ, прямо противоположномъ первоначальному значенію, то объясняется это не легендарной „переоцѣнкой цѣнностей“; объясненіе тому, простое и убѣдительное, даетъ теорія Абеля о „перемѣнѣ первоначальнаго значенія словъ“. Одно и то же слово служило первоначально для выраженія какого нибудь понятія и его противоположности, выступавшихъ въ сознаниіи, по закону ассоціаціи идей, совершенно одновременно; съ теченіемъ времени, съ развитіемъ богатства языка, каждое слово стало являться носителемъ исключительно одной стороны понятія, а для его противоположности изобрѣтался новый терминъ. Съ моральной же оцѣнкой чувствъ и поступковъ это явленіе не имѣетъ ни малѣйшей связи.

Перейдемъ, наконецъ, къ біологическимъ аргументамъ. Господствующая мораль, хотя и улучшаетъ жизненные условія стаднаго животнаго, но зато препятствуетъ развитію высшаго человѣческаго типа, такимъ образомъ оказывается вредной человѣчеству въ цѣломъ, мѣшая ему подняться на высшую ступень развитія, т. е. приблизиться къ возможному идеалу. По мнѣнію Ницше, самый совершенный человѣкъ это, слѣдовательно,—„великолѣпный хищникъ“, „смѣющійся левъ“, который исполняетъ всѣ свои желанія, не обращая вниманія на зло и добро. Наблюденіе доказываетъ, что это утвержденіе—чистый абсурдъ. Всѣ извѣстные въ исторіи „сверхъ-человѣки“, распустившіе поводъ всѣхъ своихъ инстинктовъ, были больны раньше, либо становились больными. Знаменитые преступники—ихъ Ницше тоже относитъ къ сверхъ-человѣкамъ<sup>1)</sup>—имѣютъ почти всѣ безъ исключенія физическіе и духовные стигматы вырожденія, представляютъ, слѣдовательно, доказательство уродства и регресса, а не высшаго развитія или расцвѣта. Извѣстно также, что правители, которые отличались чудовищнымъ эгоизмомъ, впадали иногда въ такое безуміе, которое врядъ ли можно разсматривать, какъ приближеніе человѣчества къ идеальному состоянію. Ницше самъ соглашается, что „великолѣпный хищникъ“ приноситъ большинству вредъ, что онъ разрушаетъ и опустошаетъ. Но въ чемъ заключается значеніе или роль этого большинства. Роль послѣдняго сводится лишь къ тому, чтобы дать возможность полно развиться нѣсколькимъ сверхъ-человѣкамъ и исполнять всѣ ихъ потребности<sup>2)</sup>. „Великолѣпный хищ-

<sup>1)</sup> „По ту сторону добра и зла“. „Преступнику его дѣло часто бываетъ не по плечу: онъ его умалчиваетъ и клеветаетъ на него.—Адвокаты преступниковъ рѣдко бываютъ настолько артистами, чтобы въ ихъ пользу употребить прекрасный ужасъ ихъ поступковъ“.

<sup>2)</sup> „По ту сторону добра и зла“. „Народъ—это окольная дорога природы, по которой онъ приходитъ къ созданію шести-семи великихъ людей“. Или „самымъ существеннымъ въ хрестіанской и здоровой аристокраціи является то, чтобы она чувствовала себя не функцией (будь ли то въ государствѣ, или общинѣ),

никъ<sup>4</sup> вредитъ самому себѣ, онъ уничтожаетъ себя самого, а это ужъ во всякомъ случаѣ не можетъ быть полезнымъ результатомъ его высокаго развитія. Повидимому, и біологія не за одно съ Нитцше. Біологическая истина заключается въ томъ, что постоянное самообузданіе—жизненная необходимость какъ для сильнѣйшаго, такъ и для слабѣйшаго. Въ этомъ и состоитъ дѣятельность высшихъ мозговыхъ центровъ человѣка; если эта дѣятельность прекращается, то происходитъ атрофія, происходитъ то, что человѣкъ перестаетъ быть человѣкомъ; мнимый „сверхъ-человѣкъ“ становится „подъ-человѣкомъ“, попросту животнымъ. Ослабленіе или уничтоженіе задерживающихъ центровъ въ мозгу ведетъ къ анархіи составныхъ частей организма, а послѣдняя влечетъ за собой болѣзнь, безуміе, гибель и смерть, если даже предположить невозможное, а именно, что безумный эгоизмъ разнужданнаго индивидуума не встрѣтитъ извнѣ никакого протеста или сопротивленія.

Подведемъ же итогъ тому, что остается отъ всей системы Нитцше. Мы видѣли, что это собраніе вздорныхъ положеній и фразъ, которыхъ нельзя принимать за нѣчто серьезное. Ученики Нитцше вѣчно бормочутъ о „глубинѣ“ его морали, у самого Нитцше навязчиво болѣзненно повторяются слова „глубокій“, „глубина“<sup>1)</sup>. Но если вы подойдете ближе, чтобы измѣрить эту „глубину“, то вы будете прямо поражены. Ни одной своей мысли, такъ называемой мысли, Нитцше не продумалъ до конца. Исторія философіи врядъ ли знаетъ еще другой подобный примѣръ, чтобы рядъ дикихъ положеній осмѣливались выдавать за философію и притомъ „глубокую“. Несмотря на то, что онъ на протяжении десяти томовъ болтаетъ о морали, онъ не имѣетъ понятія объ основныхъ проблемахъ ея. Въ общемъ они сводятся къ слѣдующему: могутъ ли человѣческіе поступки дѣлиться на хорошіе и дурные? почему одни считаются хорошими, а другіе дурными? что заставляетъ человѣка совершать хорошіе поступки и воздерживаться отъ дурныхъ?

Нитцше какъ бы отрицаетъ классификацію человѣческихъ поступковъ съ нравственной точки зрѣнія. „Ничего нѣтъ истиннаго, все дозволено“<sup>2)</sup>. Нѣтъ ни добра, ни зла. Было бы суетъ-

но ихъ смысломъ и высшимъ оправданіемъ, чтобы она поэтому съ чистой совѣстью принимала жертву безсчетнаго числа людей, которые ради нея должны быть несовершенными людьми и снизойти до степени рабовъ и орудій“.

1) Приведу нѣсколько примѣровъ, хотя ихъ можно было бы привести сотню. По ту сторону добра и зла. „Это востокъ, глубокій востокъ... Глубокое страданіе облагораживаетъ... Храбрость вкуса, вооружающагося противъ всего печальнаго и глубокаго... Лежать неподвижно, какъ зеркало, на которомъ отражалось бы глубокое небо“... „Я часто думалъ, какъ я едѣлаю человѣка сильнѣе, злѣе и глубже“. Такъ говорилъ Заратустра. „По ты, о глубокій, ты слишкомъ глубоко страдаешь даже и отъ маленькихъ ранъ... Вотъ что я называю познаніемъ: все глубокое должно подняться до моей высоты... Вы не достаточно думаете въ глубину... Міръ глубокъ, онъ задуманъ глубже, чѣмъ день... Что говоритъ глубокая полночь?... Я пробудился отъ глубокаго сна... Міръ глубокъ и глубже, чѣмъ задуманъ день. Глубока его скорбь. Радость еще глубже скорби. Всякая радость хочетъ глубокой, глубокой вѣчности“ и т. д.

2) Генеалогія морали.

пріемъ и предразсудкомъ придерживаясь этихъ искусственныхъ понятій. Самъ онъ стоитъ „по ту сторону добра и зла“, куда зоветъ и всѣхъ „свободныхъ духомъ“. И сейчасъ же вслѣдъ этотъ „по ту сторону добра и зла“ стоящій „свободный духъ“ съ величайшей непринужденностью говоритъ объ „аристократическихъ добродѣтеляхъ“<sup>1)</sup> и о „морали господъ“. Слѣдовательно, добродѣтели существуютъ? Слѣдовательно, существуетъ и мораль, хотя бы противоположная господствующей? Какъ же это примирить съ отрицаніемъ морали? Поступки людей не всѣ, повидимому, равноцѣнны? Между ними, слѣдовательно, можно различать дурныя и хорошія? Нитцше такъ и дѣлаетъ: именованъ послѣднихъ онъ обозначаетъ „аристократическія добродѣтели“, противопоставляя имъ, въ качествѣ дурныхъ, поступки рабовъ. Но если такъ, какимъ же образомъ можетъ Нитцше утверждать, что онъ стоитъ „по ту сторону добра и зла“? Онъ именно стоитъ между добромъ и зломъ, но позволяетъ себѣ глупую шутку называть хорошимъ то, что мы обыкновенно считаемъ дурнымъ, и наоборотъ. Но, право, на такое упрямство вполне способенъ какойнибудь дурновоспитанный четырехлѣтній мальчишка.

Это первое изумительное непониманіе своей собственной точки зрѣнія является однимъ изъ прекрасныхъ примѣровъ „глубокомыслія“ Нитцше. Но пойдемъ далѣе. Нитцше главнымъ доводомъ для доказательства положенія, будто морали вообще не существуетъ, считаетъ фактъ такъ называемой имъ „переоцѣнки цѣнностей“: нѣкогда признавалось хорошимъ то, что теперь считается дурнымъ, и наоборотъ. Мы уже видѣли, что это представленіе и по содержанію своему и по формѣ является чистымъ бредомъ<sup>2)</sup>. Но докажемъ даже, что Нитцше правъ, допустимъ, что „возстаніе рабовъ въ морали“ дѣйствительно произошло. Что же это прибавляетъ къ доказательности и убѣдительности теоріи Нитцше? „Переоцѣнка цѣнностей“ направлена вовсе не противъ морали, какъ таковой: цѣнности подвергаются лишь „переоцѣнкѣ“, а вовсе не отвергается самое ихъ существованіе. Ни одинъ историкъ не станетъ отрицать того факта, что въ ходѣ историческаго развитія воззрѣніе о нравственномъ или безнравственномъ характерѣ даннаго поступка подвергалась, подвергается и будетъ подвергаться различнымъ измѣненіямъ. Признаніе этого факта

1) По ту сторону добра и зла. „Наши добродѣтели? Весьма вѣроятно, что и мы имѣемъ свои добродѣтели, хотя, разумѣется, это будутъ не тѣ неподдѣльныя, полновѣсныя добродѣтели, ради которыхъ мы чтимъ своихъ предковъ, но за то немного и сторонимся отъ нихъ“. Далѣе: „Величайшимъ человѣкомъ можетъ быть человѣкъ по ту сторону добра и зла, господинъ своихъ добродѣтелей“. Итакъ: „По ту сторону добра и зла“, а затѣмъ „добродѣтели“!

2) Генезисъ морали. Предполагая эту гипотезу о происхожденіи худой совѣсти (посредствомъ „переоцѣнки цѣнностей“ и „возстанія рабовъ въ морали“), мы должны признать, что измѣненіе это не было постепенно и добровольно и не представляло органическаго роста въ новыхъ условіяхъ, но было ударомъ, скачкомъ, принужденіемъ. Такимъ образомъ не только то, что было раньше зломъ, стало добромъ, но даже эта переоцѣнка произошла внезапно; она была насильственно предписана въ одинъ прекрасный день.

сдѣлалось общимъ мѣстомъ. Если же Нитцше воображаетъ, что это его открытіе, то онъ самъ себѣ одѣваетъ ослиныя уши. Вопросъ вотъ въ чемъ: какимъ образомъ измѣненіе и развитіе моральныхъ понятій можетъ опровергать существованіе этихъ самыхъ понятій? Это, конечно, невѣрно. Фактъ измѣненія не опровергаетъ, а лишь яснѣе доказываетъ наличность моральныхъ понятій; вѣдь измѣненіе необходимо предполагаетъ существованіе того, что измѣненію подвергается. Основнымъ вопросомъ, слѣдовательно, является вопросъ: „существуютъ ли моральныя понятія?“, и Нитцше именно на этотъ основной вопросъ не даетъ никакого отвѣта, какъ много не толковалъ онъ о „переоцѣнкѣ цѣнностей“ и о „возстаніи рабовъ въ морали“.

Тономъ глубокаго презрѣнія говоритъ онъ, что рабская мораль есть мораль полезности; при этомъ онъ не замѣчаетъ, что самъ восхваляетъ „благородныя добродѣтели господской морали“ именно зато, что онѣ полезны индивидууму, „сверхъ-человѣку“<sup>1)</sup>. Не носитъ ли, слѣдовательно, и господская мораль такой же утилитарный характеръ, какъ и рабская? Этого одинаковаго характера обѣихъ моралей и глубокой Нитцше, повидимому, не замѣчаетъ. За то онъ ѣдко высмѣиваетъ англійскихъ моралистовъ, которые открыли утилитарную мораль<sup>2)</sup>.

Онъ убѣжденъ, что открываетъ нѣчто новое. дотолѣ невиданное человѣческимъ глазомъ, когда торжественно заявляетъ<sup>3)</sup>: „Корыстолюбіе и любовь,—какія различныя чувства пробуждаютъ эти слова! А межъ тѣмъ возможно вѣдь, что оба они выражаютъ одинъ и тотъ же инстинктъ; ибо не является ли и наша любовь къ ближнему простымъ стремленіемъ къ приобрѣтенію?... Если мы видимъ страданія другого, то мы тотчасъ пытаемся воспользоваться случаемъ, чтобы завладѣть своимъ ближнимъ; такъ, напримѣръ, поступаютъ благотворители и вообще сострадательные люди; и они также называютъ любовью пробужденное въ немъ желаніе обладать другимъ человѣкомъ, и они также испытываютъ при этомъ радость, какъ при новомъ предстоящемъ завоеваніи“. Нужно ли еще подвергать критикѣ эти поверхностныя разсужденія? Дѣйствительно, всякій поступокъ, даже и самый, повидимому, безкорыстный, до извѣстной степени эгоистиченъ въ томъ смыслѣ, что человѣкъ, совершившій подобный поступокъ, ожидаетъ и для себя самого пользы или удовольствія. Но

<sup>1)</sup> Фр. Нитцше. Радостная наука. 32: „На самомъ дѣлѣ, дурные инстинкты въ той же степени необходимы и цѣлесообразны, какъ и хорошіе, только функции ихъ различны.“

<sup>2)</sup> Генезалогія морали. „На примѣръ знаменитаго Бокля мы можемъ видѣть, къ какому безчиству приводятъ эти демократическіе предразсудки. Плебейство современнаго духа, выросшее на англійской почвѣ, снова рельефно проявилось въ данномъ случаѣ“. По ту сторону добра и зла: „Есть истины, которыя всего лучше познаются непосредственными умами... къ такому предположенію приходится склониться именно теперь, когда въ средней области европейскаго вкуса начинается получать духъ почтенныхъ—я говорю о Дарвинѣ, Дж. Стюартѣ Миллѣ и Гербертѣ Спенсерѣ“.

<sup>3)</sup> „Радостная наука“.



вѣдь этого никто не отрицалъ раньше, въ этомъ сходятся всѣ моралисты и теперь<sup>1)</sup>.

Не лежитъ ли въ основаніи всей нравственности именно познаніе того, что полезно? Но и этого даже не предчувствуетъ „глубокій“ Нитцше. У него эгоизмъ является чувствомъ, которое имѣетъ въ виду пользу существа, которое онъ ставитъ единственнымъ въ мірѣ, отчужденнымъ или даже враждебнымъ обществу. Для моралиста эгоизмъ, который, по мнѣнію Нитцше, лежитъ въ основѣ всякаго самоотверженія, является познаніемъ того, что полезно не для одного индивидуума, но и для всего общества; для моралиста существомъ, открывшимъ полезное, т. е. нравственное чувство, является не индивидуумъ, а общество, и для моралиста является моралью эгоизмъ, но массовой эгоизмъ общества, эгоизмъ человѣчества по отношенію къ природѣ и къ другимъ обитателямъ міра. Здравый моралистъ имѣетъ въ виду такого человѣка, который достаточно высоко развитъ, что бы отрѣшиться отъ иллюзіи индивидуальнаго своего существованія, принять участіе въ жизни всего общества и быть способнымъ входить въ интересы своихъ ближнихъ, а слѣдовательно и сочувствовать имъ. Нитцше называетъ такого человѣка именованъ, которое онъ, заимствовавъ у дарвинистовъ, считаетъ почему то своимъ изобрѣтеніемъ. — именованъ „стаднаго животнаго“. Но этому имени онъ придаетъ презрительный характеръ: въ дѣйствительности же, стадное животное, т. е. человѣкъ, индивидуальное сознаніе котораго доросло до усвоенія сознанія общества. означаетъ высшую ступень, на которую не взобраться духовнымъ уродамъ и дегенератамъ, вѣчно пребывающимъ въ своемъ болѣзненномъ одиночествѣ.

Такой же „глубиной“, какъ его открытіе, что всякое самоотверженіе есть эгоизмъ, отличается и его рѣчь къ „наставникамъ самоотверженія“<sup>2)</sup>. „Добродѣтели человѣка называютъ хорошими не по тому влиянію, какое они имѣютъ для самого человѣка, но по тому, какъ они дѣйствуютъ на насъ и на общество“. „Добродѣтели, какъ прилежаніе, послушаніе, цѣломудріе, благочестіе, справедливость большей частью вредятъ ихъ обладателямъ“. „Восхваленіе добродѣтелей—это восхваленіе инстинктовъ, которыя лишаютъ человѣка его возвышеннаго эгоизма и силы благородной самозащиты“. „Воспитаніе.... стремится.... всѣ мысли, чувства и поступки индивида направить такимъ образомъ, чтобы, превратившись въ привычку, они вѣчно вредили самому индивиду.“

<sup>1)</sup> См. между прочимъ въ моемъ романѣ „Die Krankheit des Jahrs Hunderts“ („Болѣзнь вѣка“). Лейпцигъ 1889, слѣдующее замѣчаніе Шреттера: „Эгоизмъ, какъ и всякое слово, зависитъ отъ того толкованія, какое ему придаютъ. Всякое живое существо стремится къ счастью, т. е. къ состоянію удовлетворенности.... Нормальный человѣкъ не можетъ быть счастливымъ при видѣ чужого страданія, и чѣмъ болѣе развитъ человѣкъ, тѣмъ болѣе у него такой чуткости.... его эгоизмъ будетъ заключаться въ томъ, что, стремясь къ облегченію и уменьшенію чужого горя, онъ преслѣдуетъ и свое собственное счастье. Католикъ сказалъ бы о святомъ Винцентѣ Паоло или Карлѣ Борромео: „Это былъ великій святой“, я же скажу: „Это былъ великій эгоистъ“.

<sup>2)</sup> „Радостная наука“.

но имѣли въ виду лишь всеобщее благо“. Это старое нелѣпое возраженіе противъ альтруизма, что „если каждый будетъ поступать самоотверженно, будетъ готовъ жертвовать собой за ближняго, то результатомъ этого явится, что каждый будетъ вредить себѣ самому и въ концѣ концовъ человѣчеству предстоить мрачное будущее“. Конечно, это возраженіе было бы вѣрно, если бы человѣчество состояло изъ изолированныхъ, другъ отъ друга независимыхъ индивидуумовъ. Но человѣчество—организмъ, которому каждый индивидъ отдаетъ только излишекъ своихъ силъ и взаимнѣй этой жертвы на пользу всего организма принимаетъ и самъ участіе, пользуется общимъ благосостояніемъ организма. Находятся умники, которые возражаютъ противъ страхованія, говоря, что большинство домовъ не сгораетъ. Домовладѣлецъ въ продолженіе цѣлой жизни платитъ страховую премію, и если домъ въ концѣ концовъ не сгоритъ, то, слѣдовательно, деньги истрачены безплодно, слѣдовательно, страхованіе отъ огня вредно“. Возраженіе противъ альтруизма въ общемъ имѣетъ такія же разумныя основанія, какъ и только что приведенное.

Мы привели уже достаточно примѣровъ „глубины“ Нитцше и его системы. Теперь я укажу на курьезныя противорѣчія, которые приходится наблюдать у Нитцше. Ихъ существованія не отрицаютъ и поклонники Нитцше, но они конечно всячески стараются примирить ихъ. Такъ, напримѣръ, Каачъ заявляетъ<sup>1)</sup> „Онъ во многомъ до того часто мѣнялъ свои воззрѣнія, что возстаетъ противъ тѣхъ педантовъ, которые, воспринявши какой нибудь принципъ, на немъ и застываютъ, причѣмъ ставятъ себѣ это въ заслугу, считая признакомъ сильнаго характера нечестное отношеніе къ себѣ самимъ. Въ виду этой перемѣны, взглядовъ Нитцше, авторъ считаетъ необходимымъ остановиться лишь на окончательной стадіи развитія міровоззрѣнія Нитцше“. Эти слова представляютъ сознательное и намѣренное искаженіе фактовъ, которое необходимо обнаружить, какъ, напримѣръ, обнаруживаютъ нечестное поведеніе въ картежной игрѣ. Въ самомъ дѣлѣ, противорѣчія у Нитцше встрѣчаются не только въ произведеніяхъ, относящихся къ различнымъ эпохамъ; мы находимъ ихъ въ одной и той же книгѣ, часто на одной и той же страницѣ. Здѣсь нѣтъ извѣстныхъ этаповъ познанія, по которымъ мы приближаемся къ истинѣ; это просто противорѣчащія, другъ друга исключая воззрѣнія, которыя одновременно господствовали въ сознаніи Нитцше, которыхъ онъ не могъ примирить, подвергнуть разумной критикѣ, остановившись, наконецъ, на однихъ, отбросивъ другія.

„Всегда любите своихъ ближнихъ какъ самихъ себя,—но сперва станьте такими, которые любятъ самихъ себя“, говоритъ онъ въ „Такъ говорилъ Заратустра“. Тамъ же читаемъ мы: „И тогда случилось..., что слово его возвеличило самолюбіе, цѣльное, здоровое самолюбіе, истекающее изъ могучей души“. И далѣе: „Нужно научиться любить самого себя—такъ учу я—цѣльной, здоровой любовью, чтобы удержаться при самомъ себѣ и не ша-

<sup>1)</sup> Dr. Hugo Kaatz—а. а. О. 1. Theil. Vorrede, S. VIII.

таться повсюду“. Эти цитаты приведены нами из третьей части. Въ первой же части этого произведенія мы встрѣчаемъ слѣдующія слова: „Ужасомъ является для насъ чувство, которое говоритъ: все для меня“. Я сомнѣваюсь, чтобы это противорѣчіе могло найтти себѣ объясненіе въ той „окончательной точкѣ зрѣнія, къ которой послѣ долгой борьбы“ пришелъ Нитцше“. А такими противорѣчіями, кстати сказать, полна вся книга.

Вотъ еще другой примѣръ: „Радостная наука“. „Недостатокъ личности всегда мститъ за себя, а ослабленная, тощая, сама себя отрицающая личность никуда не годна,—въ философіи, во всякомъ случаѣ“. Перелиставъ всего четыре страницы, мы прочтемъ слѣдующее: „Не дошли ли мы до подозрѣнія о противоположности между міромъ, въ которомъ мы живемъ съ представленіями о... божествѣ, добрѣ, и міромъ, который мы представляемъ сами собою, до подозрѣнія, которое приводитъ насъ, европейцевъ, къ грозной альтернативѣ—уничтожить одно изъ двухъ: либо эти наши представленія, либо самихъ себя“. Здѣсь Нитцше отвергаетъ свою личность или, по крайней мѣрѣ, сомнѣвается въ ней. Причемъ читателя не должно вводить въ заблужденіе то обстоятельство, что сомнѣніе выражено въ вопросительной формѣ; дѣло въ томъ, что Нитцше имѣетъ обыкновение „маскировать свои мысли, либо выражать ихъ гипотетически; кромѣ того онъ любитъ иногда поставить вопросительный знакъ въ концѣ разбора какой нибудь проблемы“<sup>1)</sup>.

Въ другомъ его произведеніи, „По ту сторону добра и зла“, мы видимъ болѣе опредѣленное отрицаніе личности. Въ предисловіи къ этому произведенію онъ заявляетъ, что „краеугольнымъ камнемъ философскихъ сооруженій, созданныхъ до сего времени, было какое либо народное суевѣріе“, какъ, напримѣръ, „вѣра въ существованіе души, господствующая и теперь еще въ формѣ вѣрованія въ самоопредѣленіе личности“. И тамъ же онъ говоритъ: „Кому же не надоѣло до смерти все субъективное и проклятая самосущность (ipsissimosität)“? Итакъ: „все субъективное надоѣло до смерти“, а съ другой стороны собственное „я“ должно быть провозглашено, какъ нѣчто священное“. И самымъ зрѣлымъ плодомъ общности и нравственности является суверенный индивидъ, равный самому лишь себѣ“, тогда какъ „сама себя отрицающая личность признается никуда не годной“.

Отрицаніе „я“, признаніе вѣрованія въ собственное „я“ простымъ суевѣріемъ является тѣмъ поразительнѣе, что вся философія Нитцше, если только можно такъ назвать его изліянія, основана на субъективизмѣ, что эта философія только за собственнымъ „я“ признаетъ реальное и притомъ единственное существованіе.

Болѣе вопіющаго противорѣчія мы не найдемъ во всѣхъ произведеніяхъ Нитцше, но все-таки мы приведемъ еще нѣсколько примѣровъ того, какъ непосредственно уживаются у Нитцше самыя рѣзкія противоположности.

<sup>1)</sup> Robert Schellwien—Max Stirner und Friedrich Nietzsche. Leipzig, 1892.

Мы уже видѣли, что послѣднимъ словомъ мудрости является въ глазахъ Нитцше изреченіе: „Ничего нѣтъ истиннаго, все дозволено!“ „Мнѣ глубоко противны всѣ тѣ системы морали, которыя говорятъ мнѣ: „того не дѣлай, отъ этого откажись, постарайся превозмочь себя!“ „Моралисты, которые проповѣдуютъ человѣку самообладаніе, безспорно прививаютъ ему тяжелую болѣзнь“<sup>1)</sup>. Теперь обратите вниманіе на слѣдующее утвержденіе Нитцше: „Благодаря счастливымъ брачнымъ правамъ радостная воля, стремленіе къ самообладанію находится въ постоянномъ возрастаніи“. Аскетизмъ и пуританизмъ являются почти необходимыми воспитательными и облагораживающими средствами, когда раса выше своего происхожденія хочетъ изъ черни превратиться въ господина и достигнуть когда либо власти“. И наконецъ „самое существенное и неопытное во всякой морали это то, что она есть продолжительное насиліе“.<sup>2)</sup>

Характерной чертой сверхъ-человѣка является его одиночество, жажда этого одиночества, удаленіе изъ общества стадныхъ животныхъ. „Тотъ будетъ самымъ великимъ, который сумѣетъ быть самымъ одинокимъ“. „Люди сильнаго характера непременно будутъ отдаляться другъ отъ друга, ибо только слабые чувствуютъ потребность въ обществѣ себѣ подобныхъ“. И въ то же время въ „Радостной наукѣ“ онъ говоритъ, что нѣтъ ничего „болѣе ужаснаго, какъ чувствовать себя одинокимъ“, и что „мы и теперь по временамъ слишкомъ низко цѣнимъ выгоды общежитія“. „Мы?“ Это—слишкомъ смѣлое обобщеніе. Напротивъ, мы то вполне цѣнимъ эти выгоды; не цѣнимъ ихъ лишь тотъ, кто считаетъ признакомъ „сильнаго характера“ взаимное отдаленіе, т. е. въ конечномъ счетѣ, враждебное отношеніе къ обществу и его годамъ.

Онъ то признаетъ первобытнаго человѣка свободно блуждающимъ, великолѣпнымъ хищникомъ и бѣлокуримъ животнымъ, то эти люди „строго относятся къ правамъ, обычаямъ, предметамъ почитанія и изобрѣтательны въ взаимныхъ проявленіяхъ уваженія, вѣрности и дружбы“. Если всѣ эти качества являются свойственными „бѣлокуримъ животнымъ“, то конечно, пусть такихъ животныхъ плодится какъ можно больше. Правда, для насъ представляется неразрѣшимой загадкой, какъ это согласуется „самообладаніе и взаимное уваженіе“ съ характеромъ великолѣпнаго хищника. Правда, Нитцше самъ нѣсколько ограничиваетъ свой восторгъ передъ этими людьми. „По отношенію къ чужимъ они поступаютъ не лучше, чѣмъ пущенные на волю хищники“. (Генеалогія морали). Но и это ограниченіе собственно имѣетъ мало значенія. Всякое дифференцировавшееся общество чувствуетъ себя чѣмъ то силовымъ по отношенію къ остальному міру и не представляетъ чужому правъ своихъ членовъ. Но прогрессъ цивилизаціи состоитъ именно въ томъ, что границы общества все болѣе расширяются, что все болѣе и болѣе исчезаетъ понятіе о

1) Радостная наука.

2) По ту сторону добра и зла.

безправномъ чужестранцѣ, который не смѣетъ претендовать на уваженіе и вниманіе. Вначалѣ признаніе извѣстныхъ правъ распространялось лишь на членовъ небольшой орды, затѣмъ сознание общей солидарности стало развиваться въ предѣлахъ болѣе обширныхъ группъ, какъ то рода, государства, расы. Наше время знаетъ примѣръ еще болѣе широкой солидарности: оно знаетъ уже международное право, которому подчиняются даже и во время войны, а лучшіе изъ нашихъ современниковъ чувствуютъ свою общность со всеми людьми, и настанетъ нѣкогда время, когда только однѣ лишь силы природы будутъ считаться чужими, враждебными силами, съ которыми нужно вести борьбу. „Глубокой“ Нитцше, конечно, не въ состояніи понять такіа протистія и ясныя вещи.

Иногда онъ пронизируетъ надъ тѣми „наивными людьми“, которые думаютъ, что государство возникло путемъ договора (Генсалогія морали), а затѣмъ самъ говоритъ въ той же книгѣ: „Если они (сильные люди, господа по самой своей природѣ) соединятся между собою, то дѣлаютъ они это ради какихъ нибудь агрессивныхъ дѣйствій, имѣющихъ цѣлью совместное удовлетвореніе ихъ стремленія къ власти и могуществу, и не безъ противодѣйствія отдѣльной воли“. Съ противодѣйствіемъ или безъ него, „союзъ въ цѣляхъ общаго удовлетворенія“ развѣ не тотъ же договоръ, развѣ это не та же „наивность“, надъ которой пронизировалъ Нитцше?

Довольно однако примѣровъ. Я не стану углубляться въ детали, но мнѣ, кажется, удалось доказать, что Нитцше противорѣчитъ каждому своему утвержденію и, главнымъ образомъ, противорѣчитъ онъ основному своему положенію, что реальность присуща одному лишь „я“. и что эгоизмъ есть самое необходимое и законное чувство.

Если мы ближе присмотримся къ его утвержденіямъ, мы будемъ поражены изумительной глупостью и невѣжествомъ, которыми они изобилуютъ. Такъ, на примѣръ, онъ называетъ „величайшей побѣдой надъ чувствами, когда либо одержанной на землѣ“, ученіе Коперника, который, „вопреки чувствъ свидѣтельству, заставилъ насъ вѣрить, что земля не стоитъ неподвижно“. Онъ даже и не подозреваетъ, что въ основу теоріи Коперника легли точныя наблюденія звѣзднаго неба, движенія луны и планетъ и положенія солнца между созвѣздіями, онъ не понимаетъ, что это ученіе дѣйствительно было побѣдой правильныхъ чувственныхъ воспріятій надъ обманами чувствъ, побѣдой вниманія надъ разсѣянностью. Онъ полагаетъ, что „сознаніе развилось подъ влияніемъ потребности людей въ общеніи, такъ какъ продукты сознательнаго бываютъ выражаемы въ словахъ, т. е. знаками общенія; отсюда становится яснымъ и самый источникъ происхожденія сознанія“. Онъ, повидимому, не знаетъ, что сознаніемъ обладаютъ и животныя, которыя не пользуются словами, что мыслить можно одними образами безъ помощи словъ, что языкъ лишь значительно позже является къ услугамъ сознанія. Чрезвычайно курьезно, что Нитцше считаетъ себя тонкимъ психологомъ и больше всего желаетъ прослыть таковымъ. Этотъ глубокомысленный пси-

хологъ объясняетъ возникновение социализма тѣмъ, что „фабрикантамъ и крупнымъ предпринимателямъ недостаетъ признаковъ принадлежности къ высшей расѣ. Будь они кровными аристократами, намъ бы не пришлось имѣть дѣло съ социализмомъ. Масса по самой своей сущности склонна къ рабству, при томъ однако условіи, чтобы высшіе, поставленные надъ нею, постоянно выказывали въ благородной формѣ свое превосходство“. Представленіе: „ты долженъ“, мысль о долгѣ, необходимости извѣстной степени самообладанія является слѣдствіемъ того, что „во всѣ времена существованія человѣчества бывали человѣческія стада и всегда множество повинующихся по отношенію къ небольшому числу повелѣвающихъ“. Болѣе здравомыслящій человѣкъ чѣмъ Нитцше, пойметъ, что, наоборотъ, только тогда возможно стало появленіе человѣческихъ стадъ, повинующихся и повелѣвающихъ, когда нашъ мозгъ приобрѣлъ способность выработать представленіе о долгѣ, т. е. о необходимости силой мысли и разума сдерживать веленія инстинкта. Потомокъ смѣшанной расы „въ среднемъ выводѣ будетъ всегда слабѣе“, и нужно признать, что „въ сущности мировая скорбь и пессимизмъ XIX вѣка ничто иное, какъ слѣдствіе такого безумнаго неожиданнаго смѣшенія сословіи! Извѣстно между тѣмъ, что спеціалисты изслѣдователи убѣждены въ полезности скрещиванія расъ, которые они считаютъ „основной причиной развитія“. <sup>1)</sup> „Дарвинизмъ съ его непостижимо одностороннимъ ученіемъ о борьбѣ за существованіе“, находитъ себѣ объясненіе въ происхожденіи самого Дарвина. Его предки были „простые, бѣдные люди, которые вполнѣ познали всѣ затрудненія, встрѣчающіяся въ жизни. Вокругъ всего англійскаго дарвинизма какъ бы носится запахъ отъ скученнаго населенія, слышатся жалобы малыхъ міра сего, съ ихъ горемъ и нуждой“. Я полагаю, всѣмъ моимъ читателямъ извѣстно, что Дарвинъ былъ богатымъ человѣкомъ такъ же, какъ и его предки (за три четыре поколѣнія) пользовались самымъ полнымъ достаткомъ.

Нитцше предъявляетъ особенно большія претензіи на исключительную оригинальность. Онъ беретъ эпитафюмъ къ своей „Радостной наукѣ“ слѣдующія слова: „Я живу подъ своей собственной кровлей, никогда не подражалъ никому и смѣюсь надъ каждымъ изъ мудрецовъ, кто самъ не осмѣялъ себя“.

Его послѣдователи вѣрятъ этому хвастовству и дружнымъ хоромъ прославляютъ его оригинальность. Глубокое невѣжество этого стада позволяетъ ему вѣрить въ оригинальность Нитцше. Его послѣдователямъ, никогда ничему не учившимся, никогда не думавшимъ и ничего не читавшимъ, понятно, кажется новымъ все, что они узнаютъ въ какомъ нибудь кабакѣ. Всякій же, кто станетъ разсматривать Нитцше въ связи съ другими современными явленіями, пойметъ, что вся его пресловутая новизна и смѣлость представляютъ самая обыденныя общія мѣста.

<sup>1)</sup> C. Lombroso и R. Laschi, Le crime politique et les révolutions. Paris 1892.

Въ одномъ случаѣ Нитцше дѣйствительно бываетъ оригиналенъ. Это, когда онъ бѣснуетъ: тогда его выраженія лишены какого бы то ни было смысла, и ихъ нельзя связать съ тѣмъ, что было когда нибудь и къмъ нибудь продумано и сказано. Тамъ же, гдѣ его слова становятся хотя бы нѣсколько понятны, ихъ происхожденіе изъ парадоксовъ и банальностей другихъ можно тотчасъ прослѣдить. Свой „индивидуализмъ“ Нитцше всецѣло заимствовалъ у Макса Штирнера, взбѣсившагося гегелианца, который уже пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ раздулъ до невѣроятныхъ размѣровъ критическій идеализмъ своего учителя и сдѣлалъ смѣшнымъ понятіе о собственномъ „я“: Штирнеръ и въ свое время не встрѣтилъ къ себѣ серьезнаго отношенія, а затѣмъ вполне заслуженно былъ преданъ забвенію, изъ котораго теперь хотятъ извлечь его нѣкоторые анархисты <sup>1)</sup>. Тамъ, гдѣ Нитцше говоритъ объ его правахъ и притязаніяхъ, о необходимости его всесторонняго развитія, читатель предыдущихъ главъ убѣдится, что тѣ же фразы онъ встрѣчалъ у Бареса, Уильда и Юбсена. Свою философію воли онъ заимствовалъ у Шопенгауэра, вообще очень сильно повліявшаго на ходъ его мысли и развитіе его стиля. Полная тождественность его и Шопенгауэровскихъ выраженій о волѣ, повидимому, была ясно и самому Нитцше: чтобы сгладить такое совпаденіе, онъ къ готовому стереотипу прибавляетъ фальшивый носъ собственнаго изобрѣтенія: онъ оспариваетъ мнѣніе Шопенгауэра, будто основнымъ импульсомъ, движущимъ всякое живое существо, является стремленіе къ самосохраненію. Нѣтъ, говоритъ Нитцше, такимъ импульсомъ служитъ стремленіе къ власти. Подобная прибавка является совершенно ребяческой. Вѣдь, въ самомъ дѣлѣ, у низшихъ организмовъ всегда наблюдается лишь стремленіе къ самосохраненію, у человѣка же это мнимое „стремленіе къ власти“ можетъ быть сведено къ двумъ хорошо извѣстнымъ источникамъ: къ стремленію наиболѣе полно использовать силы, что сопряжено съ ощущеніемъ удовольствія, или доставить себѣ наиболѣе выгодные способы существованія. Стремленіе къ удовольствію и лучшимъ жизненнымъ условіямъ ничто иное, какъ воля къ жизни, и тотъ, кто считаетъ „волю въ власти“ чѣмъ то инымъ, или даже противоположнымъ, доказываетъ только свою крайнюю близорукость. Главное доказательство Нитцше въ пользу различія между волей жизни и „волей къ власти“ заключается въ томъ, что „воля къ власти“ очень часто приводитъ къ пренебреженію жизнью или даже полному разрыву съ нею. Но вѣдь и борьба за жизнь, за существованіе также подвергаетъ человѣка опасности, а иногда даже заставляетъ его искать такихъ опасностей: слѣдовательно, это доказываетъ, что человѣкъ, борющійся за свое существованіе, совсѣмъ имъ не дорожитъ. Я допускаю, что Нитцше былъ бы въ состояніи доказывать и подобное положеніе.

Какъ мы видѣли, дегенераты, съ которыми мы познакомились, до сихъ поръ признають, что для нихъ очень мало значить при-

<sup>1)</sup> R. Schellwien. a. a. O. S. 7 „Тридцатилѣтній періодъ раздѣляетъ литературную дѣятельность обоихъ мыслителей (!), и все же мы находимъ очень много общаго, что такимъ образомъ лишний разъ отбѣняетъ значеніе принципиальныхъ утвержденій индивидуализма“.

рода и ея законы. Нитцше не заходитъ въ своемъ самоудовлетвореніи такъ далеко, какъ Росетти, которому совершенно безразлично, движется ли земля вокругъ солнца, или наоборотъ, солнце вокругъ земли. Болѣе того, Нитцше открыто заявляетъ, что онъ не можетъ равнодушно относиться къ этому факту: онъ, напротивъ, сожалѣетъ объ немъ; его раздражаетъ, что земля не составляетъ центра вселенной, а онъ самъ, центра земли. „Со времени Коперника человѣкъ попалъ на покатую плоскость, онъ все быстрѣе катится отъ центра—куда? въ ничтожество? въ мучительное сознаніе своего ничтожества?“ На этой почвѣ возникаетъ его раздраженіе противъ Коперника въ частности и науки вообще. „Вся современная наука стремится къ тому, чтобы лишить человѣка уваженія къ самому себѣ, какъ будто это послѣдній ничто иное, какъ простое самомнѣніе „Генеалогіи морали“. Развѣ это не повтореніе словъ Уильда, который жалуется на то, что „природа безучастна къ нему столь же, сколько къ пасущемуся скоту“?

Вообще мы часто встрѣчаемъ у Нитцше слова и мысли, которыя являются вторымъ изданіемъ Оскара Уайльда, Гюисманса и другихъ демонистовъ и декадентовъ. Слова въ Генеалогіи морали“, въ которыхъ онъ восхваляетъ искусство за то, что оно „освящаетъ въ себѣ ложь и оправдываетъ волю къ обману“, совершенно напоминаютъ главу „Ложь, какъ изящное искусство“ въ „Intentions“ Уайльда. Точно также на ряду съ афоризмомъ Уайльда, что „нѣтъ грѣха, кромѣ глупости“, что „мысль, не заключающая въ себѣ опасности, не заслуживаетъ названія мысли, что убійцы достойны всяческаго восхваленія, можно поставить на ряду съ „моралью асасиновъ“ Нитцше и его замѣчаніями о томъ, что часто „умалютъ и клеветаютъ на преступленіе“, и что „рѣдко встрѣчаются такія артистическія дарованія, которыя могли бы посредствомъ прекраснаго ужаса преступленія выхватить благоволеніе зрителей“. Ради курьеза мы предлагаемъ сопоставить еще слѣдующія слова. „Надо отдѣлаться, говоритъ Нитцше, онъ дурного вкуса быть одного мнѣнія со многими. Хорошее перестаетъ быть хорошимъ, разъ оно начало казаться такимъ твоему сосѣду.“ Какъ бы въ pendant ему Уайльдъ восклицаетъ: „Ахъ, не говорите, что вы со мною согласны. Когда люди соглашаются со мною, я всегда чувствую, что не правъ“. Неправда ли, здѣсь гораздо больше, чѣмъ случайное сходство? Если бы я не боялся утомить читателя, я привелъ бы нѣкоторыя выдержки изъ Ибсена и Гюисманса, которыя доказали полное совпаденіе. При этомъ несомнѣнно, что Нитцше не могъ быть знакомымъ съ творчествомъ французскихъ декадентовъ и англійскихъ эстетовъ, съ которыми у него такъ много общаго; его сочиненія отчасти написаны гораздо раньше; несомнѣнно также то, что и они, за исключеніемъ, быть можетъ, одного Ибсена, мало заимствовали у Нитцше, который сталъ извѣстенъ лишь въ самое послѣднее время. Сходство, а иногда полное тожество объясняется не заимствованіями, а особенностями душевнаго склада какъ Нитцше, такъ и всѣхъ другихъ вырождающихся эгоистовъ.

Особенно комиченъ Нитцше, когда онъ ополчается противъ истины, стараясь доказать ея ненужность. „Положимъ, мы



хотимъ истины; почему же нежизн, неопредѣленности, даже невѣжества?" (По ту сторону добра и зла). „И что такое представляютъ изъ себя въ конечномъ счетѣ истины человѣчества? Это не болѣе, какъ непроверяемые заблужденія людей“. (Радостная наука). „Воля къ истинѣ, быть можетъ, означаетъ скрытую волю къ смерти“, заявляетъ онъ въ „Радостной наукѣ“. Та часть его книги, въ которой разсматривается проблема истины, носитъ заглавіе: „Мы безстрашные“, и въ видѣ эпиграфа онъ предписываетъ ей слова Тюрениа: „Ты дрожишь, трупъ? Ты бы еще болѣе страдалъ, если бы зналъ, куда я веду тебя!“ Въ чемъ состоитъ эта страшная опасность, на встрѣчу которой идутъ съ такимъ геройствомъ „безстрашные? Это—ислѣдованіе сущности и дѣйности истины; но вѣдь подобное ислѣдованіе является исходной точкой всякой серьезной философіи. Не подозреваетъ, повидимому, Нитцше и того, что вопросъ, существуетъ ли объективная истина, поднятъ за долго до него, правда, безъ такого треска, шума и барабанаго боя. Въ высшей степени характерно, между прочимъ, что тотъ самый грозный убійца драконовъ, который дѣлаетъ такіа вылазки противъ „истины“, подобострастно проситъ извиненія, когда не соглашается признать совершенство гетевского гения. Говоря о „неуклюжести“ и „неповоротливости“ нѣмецкаго слога, Нитцше заявляетъ далѣе („По ту сторону добра и зла“): Пусть простятъ мнѣ фактъ, что даже проза Гете въ своей смѣси неподвижности и жеманства не представляетъ исключенія“. Осмѣливаясь подвергнуть здравой критикѣ Гете, Нитцше считаетъ нужнымъ просить за это прошеніе; но гдѣ онъ выказываетъ геройскую отвагу—такъ это при отрицаніи истины и морали. Это доказываетъ, что нашъ „безстрашный“ боецъ рѣшается нести своимъ слушателямъ разный философскій вздоръ, но пугливо останавливается, разъ дѣло касается эстетическихъ взглядовъ и предразсудковъ этихъ самыхъ слушателей.

Даже въ мелочахъ Нитцше поражаетъ своимъ сходствомъ съ другими эгоистами, съ которыми мы познакомились. Обратите вниманіе на заявленіе Нитцше, въ которомъ онъ считаетъ „по истинѣ благороднымъ въ произведеніяхъ и людяхъ ихъ мгновеніе гладкаго моря и халкіонской самоудовлетворенности, все золотое и холодное. (По ту сторону добра и зла). Не напоминаетъ ли это восторженнаго поклоненія Бодлэра предъ неподвижностью и его восторженнаго описанія металлическаго ландафта? Точно также и ругань, на которую Нитцше такъ щедръ по адресу газетъ, поражаетъ своимъ сходствомъ съ подобными же вылазками Ибсеновскихъ героевъ. „Великіе аскеты питають отвращеніе къ шуму, поклоненію, газетамъ. (Генеалогія морали). Причина „непроверяемаго, ясно уже выступающаго запустѣнія нѣмецкаго духа“ лежитъ въ „излишнемъ упитываніи газетамъ, политикой, пивомъ и вагнеровской музыкой. (Тамъ же). „Взгляните только на этихъ лишнихъ людей... они изливаютъ желчь и называютъ это газетой“... (Такъ говоритъ Заратустра). „Развѣ ты не видишь душъ, висящихъ подобно обвислымъ грязнымъ тряпкамъ? А они дѣлають еще газеты изъ этихъ тряпокъ. Развѣ ты не слышишь, что духъ сдѣлался здѣсь простой игрой словъ? Грязныя словоизверженія вы-

брасываетъ онъ. А они дѣлаютъ еще газеты изъ этихъ словесныхъ помоевъ“. (Тамъ же): Число подобныхъ примѣровъ можно было бы удесятенить, такъ какъ къ каждому своему утверженію Нитцше возвращается съ такимъ упрямствомъ, которое способно провести даже самаго терпѣливаго читателя“.

Такова въ общемъ хваленая оригинальность Нитцше. Этотъ „оригинальный“, „дерзновенно смѣлый“ мыслитель старается, подобно прибѣгающимъ къ распродажамъ торговцамъ, надѣлать читателя самымъ залежалымъ товаромъ, выдавая его за модную новинку. Его „безстрашныя“ вылазки напоминаютъ человѣка, ломящагося въ открытую дверь. Этотъ „одинокій обитатель отдаленнѣйшихъ горныхъ вершинъ“, оказывается, обладаетъ самой заурядной фізіономіей, сразу обличающей декадента. Этотъ великій ненавистникъ „стада“ самъ оказывается самымъ банальнымъ „стаднымъ животнымъ“. Только стадо, къ которому онъ принадлежитъ душой и тѣломъ, это стадо шелудивыхъ овецъ.

У Нитцше быть какъ то моментъ, когда исчезла у него свойственная дегенератамъ хитрость, и вотъ въ такой моментъ Нитцше проговорился относительно источника происхожденія его „оригинальной“ философіи. Эти слова настолько характерны, что я считаю необходимымъ привести ихъ.

Въ „Генеалогіи морали“ Нитцше говоритъ такъ: „Первый толчокъ, побудившій меня обнародовать нѣкоторыя изъ моихъ гипотезъ о происхожденіи морали, дало мнѣ чтеніе ясной, опрятной, умной и я бы даже сказалъ древне умной (!) книжечки, отчетливо познакомившей меня съ превратнымъ характеромъ взглядовъ на происхожденіе морали—взглядовъ, особенно присущихъ англичанамъ. Она привлекла меня съ той силой, съ какой вообще притягиваетъ всякая противоположность, всякій антиподъ. Эта книжечка носила заглавіе: „Происхожденіе современной морали“; авторъ ея былъ dr. Поль Ре; появленіе ея относится къ 1877 году. Мнѣ, быть можетъ, не приходилось никогда больше читать подобной книги: на каждую фразу, на каждый выводъ мнѣ хотѣлось сказать: нѣтъ, и все это безъ раздраженія и нетерпѣнія. Въ произведеніи, надъ которымъ я тогда работалъ—то было „Человѣческое, слишкомъ человѣческое“—я при всякомъ поводѣ и безъ всякаго повода возвращался къ этой книжечкѣ, не затѣмъ чтобы опровергать ее—какое мнѣ дѣло до опроверженій—а затѣмъ, чтобы, какъ подобаетъ созидающему уму, замѣнить неправдоподобное болѣе правдоподобнымъ, чтобы при случаѣ на мѣстѣ одного заблужденія установить другое“.

Въ этихъ словахъ ключъ къ разгадкѣ оригинальности Нитцше. Она состоитъ въ простомъ, чисто дѣтскомъ извращеніи логическаго теченія мысли. Когда Нитцше воображаетъ, что всѣ его безумныя отрицанія и противорѣчія возникли у него самостоятельно—то это не болѣе, какъ простой самообманъ. Правда, быть можетъ, его сумасбродныя мысли бродили у него и до чтенія Поля Ре; тогда ихъ возникновеніе вытекаетъ изъ стремленія къ противорѣчію другимъ сочиненіямъ—стремленіе, которое не было такъ имъ ясно сознано, какъ при чтеніи изслѣдованія Поля Ре. А съ Нитцше это можетъ статься. Вѣдь заходитъ же онъ въ сво-

емъ самообманѣ до того, что считаетъ себя „позитивнымъ“ умомъ, и въ то же время заявляетъ, что онъ не „опровергалъ“—такая задача была бы для него непосильной, а просто отрицалъ каждую фразу, каждый выводъ.

Это объясненіе происхожденія „своеобразной“ моральной философіи заключаетъ въ себѣ діагнозъ, который бросается въ глаза даже самому близорукому человѣку: система Нитцше—плодъ маніи противорѣчія, одной изъ разновидностей помѣшательства; это помѣшательство обнаруживается и въ стилистическихъ особенностяхъ. Въ его головѣ тѣснится пѣлѣй рядъ вопросовъ и сомнѣній. Его излюбленное словечко, это—„какъ?“, которое онъ употребляетъ въ самыхъ странныхъ сочетаніяхъ. „Какимъ чудеснымъ образомъ она мною овладѣваетъ! Какъ? Неужели весь земной покой здѣсь? Къ чему воодушевленному вино! Какъ? Кроуту дарятъ крылья и гордыя фантазіи?“ Кромѣ того онъ чрезвычайно злоупотребляетъ оборотомъ: „Говорю нѣтъ“, который въ силу асоціаціи идей вызываетъ у него противоположный оборотъ: „Говорю да“. „Греческая жизнь, которой онъ говорить нѣтъ“... вмѣсто того, чтобы сказать: „я чувствую жажду“, Нитцше говоритъ: „я говорю „о водѣ“; вмѣсто „я сонливъ“—„я говорю нѣтъ всякому бодрствованію“. Такихъ примѣровъ и не оберешься, они встрѣчаются на каждомъ шагу.

Нитцше заслуживаетъ полного довѣрія, когда онъ заявляетъ, что „безъ всякаго раздраженія и нетерпѣнія“ говорилъ нѣтъ на всякое утвержденіе Поля Ре. Больные одержимые маніей сомнѣнія и отрицанія, не сердятся, когда спрашиваютъ или отрицаютъ что нибудь; они дѣлаютъ это исключительно подъ давленіемъ своего душевнаго недуга. Но буйные изъ этихъ больныхъ, если не раздражаются сами, то чувствуютъ сильную потребность раздражать другихъ. Мы имѣемъ по этому поводу цѣнное признаніе самаго Нитцше: „Мой образъ мыслей, говоритъ онъ, требуетъ воинственной души, требуетъ стремленія причинять боль, стремленія говорить нѣтъ“ (Радостная наука). Сравните это признаніе со словами одной героини Ибсена: „Необходимо случится чему то такому, что дастъ пощечину всѣмъ этимъ приличнымъ господамъ“.

Dr. Германнъ Тюркъ <sup>1)</sup> въ небольшой, но прекрасной книгѣ прослѣдилъ происхожденіе одной изъ оригинальнѣйшихъ частей ученія Нитцше, именно объясненіе чувства совѣсти удовлетвореніемъ присущаго человѣку инстинкта жестокости, путемъ внутренняго самоистязанія; онъ вполне вѣрно находитъ, что въ основѣ этого ученія лежитъ безумная мысль, обусловленная болѣзненнымъ состояніемъ Нитцше; онъ говоритъ: „Если мы вообразимъ себѣ такого человѣка съ врожденными жестокими инстинктами или вообще съ извращеннымъ нравственнымъ чувствомъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ очень одареннаго, выросшаго при томъ въ прекрасной обстановкѣ при заботливомъ женскомъ уходѣ,—то намъ станетъ яснымъ, что лучшіе нравственные инстинкты могутъ окрѣпнуть до того, чтобы обуздать хищническіе, разрушительные

<sup>1)</sup> Dr. Hermann Türck. Fr. Nietzsche und seine philosophischen Irrwege. Dresden 1891.

инстинкты; однако они будут жить гдѣ нибудь въ глубинѣ чловѣка, надѣяться на ихъ полное умерщвление рѣшительно нельзя; они будутъ продолжать существованіе какъ несознательное стремленіе, какъ не удовлетворенное желаніе, а такое неудовлетвореніе въ концѣ концовъ ведетъ къ страданію, къ внутренней мукъ. Кромѣ того люди очень склонны все, къ чему они питаютъ сильное стремленіе, считать естественнымъ и хорошимъ. И можетъ такимъ образомъ случиться, что богато одаренный, высоко образованный чловѣкъ, который родился съ извращенными инстинктами... но не находя удовлетворенія имъ... испытывая отъ этого страданіе... приходитъ, наконецъ, къ мысли, что самый крайній эгоизмъ является чѣмъ то естественнымъ, прекраснымъ, хорошимъ, и что, наоборотъ, противоположные, высшіе инстинкты, то, что мы называемъ совѣстью, есть не болѣе какъ болѣзненное заблужденіе“.

Д-р. Тюркъ совершенно правъ, предполагая у Нитцше врожденную нравственную извращенность, но при истолкованіи проявленія этой извращенности впадаетъ въ ошибку, объясняющуюся, повидимому, недостаточнымъ знакомствомъ его съ психіатріей. Тюркъ предполагаетъ, что въ душѣ Нитцше дурные врожденные инстинкты вели упорную борьбу съ приобретенными путемъ воспитания хорошими, и что обузданіе первыхъ разумомъ причиняло Нитцше страданіе. Но въ дѣйствительности врядъ ли такъ было. Нѣтъ надобности предполагать, что у Нитцше непременно были наклонности къ убійству или другимъ преступленіямъ. Не всякій больной съ извращенными чувствами одержимъ навязчивыми влеченіями. Извращенность можетъ ограничиться исключительно одной интеллектуальной сферой и находить себя удовлетвореніе въ однихъ представленіяхъ. У такого рода больного можетъ даже и не являться мысли о примѣненіи въ дѣйствительности своихъ представленій; поврежденіе можетъ и не коснуться центровъ воли и движенія, но поразить только центры образованія мыслей. Мы, напримѣръ, знаемъ такіа формы половой извращенности, при которыхъ больные никогда не чувствуютъ потребности искать дѣйствительнаго удовлетворенія своимъ болѣзненнымъ инстинктамъ. Это поразительное раздѣленіе между мыслью и дѣломъ, между волей и поступками служатъ доказательствами глубокаго разстройства всей мыслительной машины. Неспеціалисты охотно указываютъ на тотъ фактъ, что нѣкоторые писатели и художники ищутъ безнравственныхъ или противоречивыхъ произведенія, хотя ихъ собственный образъ жизни стоитъ внѣ всякихъ упрековъ; изъ этого факта они дѣлаютъ выводъ, что нѣтъ основаній судить по произведеніямъ объ умственныхъ и нравственныхъ особенностяхъ ихъ творцовъ. Люди, ведущіе такіа разлагающіяся, повидимому, не знаютъ, что существуетъ чисто духовная извращенность, которая составляетъ такую же болѣзнь, какъ навязчивыя влеченія „импульсивныхъ“.

Такой болѣзью страдаетъ, повидимому, и Нитцше. Его извращенность чисто духовнаго характера и никогда не вынуждала его перейти къ дѣлу. Слѣдовательно, въ его душѣ вовсе и не происходила борьба между врожденными инстинктами и

приобрѣтенными этическими воззрѣніями. Его объясненіе происхожденія чувства совѣсти имѣетъ вовсе не тотъ источникъ, какой предполагаетъ докторъ Тюркъ. Это объясненіе коренится въ часто наблюдаемомъ ложномъ истолкованіи даннаго ощущенія со стороны воспринимающаго его сознания. Нитцше замѣтилъ однажды, что жестокія представленія вызываютъ въ немъ чувство удовольствія, что онѣ „приятны“, какъ выразился бы психіатръ. Поэтому онъ создаетъ такія представленія, подолгу оставаясь на нихъ, охотно ими наслаждается<sup>1)</sup>. Сознаніе старается затѣмъ разумно объяснить это явленіе, и вотъ является предположеніе, что жестокость — могучіи первоначальній инстинктъ человѣка, который при невозможности удовлетворить этому инстинкту создаетъ себѣ представленіе о жестокихъ поступкахъ, и испытываемое отъ этого наслажденіе называетъ своей совѣстью. Я уже раньше указывалъ, что, по мнѣнію Нитцше, укору совѣсти не являются слѣдствіемъ дурныхъ поступковъ; они выступаютъ у людей, которые не сдѣлали ничего дурного. Онъ, повидимому, придаетъ этому слову совершенно своеобразное толкованіе: онъ попросту разумѣетъ въ данномъ случаѣ наслажденіе жестокими представленіями.

Психіатру хорошо знакома эта форма извращенности, при которой больной испытываетъ сладострастное наслажденіе отъ поступковъ и помысловъ жестокаго характера. Въ наукѣ эта форма извращенности называется садизмомъ, который представляетъ противоположную мазохизму форму половой извращенности<sup>2)</sup>.

Нитцше въ высшей степени одержимъ садизмомъ: но болѣзнь ограничивается у него исключительно духовной сферою. Я бы не хотѣлъ долго останавливаться на этомъ противномъ предметѣ, и потому приведу лишь нѣсколько предметовъ, которые покажутъ читателю, что картины жестокости постоянно со-

<sup>1)</sup> Нитцше говоритъ въ одномъ мѣстѣ „Генезиса морали“ о „разновидности моральныхъ опасностей и самоудовлетворяющихся“. Правда, онъ не примѣняетъ этого слова къ самому себѣ, но несомнѣнно, оно было внушено ему неяснымъ предчувствіемъ своего собственного душевнаго состоянія.

<sup>2)</sup> Dr. R. Krafft-Ebing *Neue Forschundgn u. s. w.* S. 45.

„Полный противоположностью мазохизму является садизмъ. Въ то время, какъ мазохистъ чувствуетъ потребность страдать и подчиниться чужой власти, второй, напротивъ, испытываетъ желаніе заставить страдать другихъ, подчинить ихъ своей власти... Всѣ дѣйствія и положенія садистовъ въ дѣйствительной жизни представляютъ предметъ страстнаго желанія мазохизма въ его пассивной роли. Въ извращеніяхъ того и другого рода эти дѣйствія переходятъ отъ поступковъ символическихъ характера къ самымъ тяжелымъ преступленіямъ... И садизмъ и мазохизмъ слѣдуетъ разсматривать какъ душевную болѣзнь вырождающихся индивидуумовъ, одержанныхъ психической *Nurpergaesthesia sexualis*, но обыкновенно и другими ненормальностями... Удовольствіе отъ доставленія боли и удовольствіе отъ получения ея является только двумя различными сторонами одного и того же душевнаго явленія, основа котораго — сознаніе активнаго или пассивнаго подчиненія“. См. у Нитцше въ „Такъ говоритъ Заратустра“: „Ты идешь къ женщинамъ? не забудь захватить бичъ!“ — „По ту сторону добра и зла“: „Женщина разучится бояться мужчину“ и такимъ образомъ „утратить свои женскіе инстинкты“.

проводятся у Нитцше сладострастными представленіями. „Великолѣпное бѣлокурое животное, похотливо рыскающее за добычей“ (Генеалогія морали). „Чувство удовольствія, испытываемое при возможности проявить свою власть надъ безсильнымъ, сладострастие de faire le mal pour le plaisir de le faire, на слаженіе, вызываемое насиліемъ“. (Тамъ же)... „Путь къ собственному раю ведетъ всегда черезъ сладострастіе собственнаго ада“ (Радостная наука)... „Человѣкъ лучше всего чувствуетъ себя, глядя на трагедіи, на бои быковъ, на распятія; и когда онъ избрѣлъ адъ, послѣдній сдѣлался его небомъ на землѣ. Если великій человѣкъ кричитъ, мигомъ подбѣгаетъ маленькій; языкъ его высовывается у него отъ похотливости“. (Такъ говоритъ Заратустра). Обращаю вниманіе читателей неспеціалистовъ на связь подчеркнутыхъ словъ со словами, выражающими нѣчто злое. Эта связь далеко не случайнаго характера. Это психологическая необходимость, такъ какъ въ сознаніи Нитцше не можетъ возникнуть ни одной картины зла и преступленія безъ того, чтобы она не сопровождалась половымъ возбужденіемъ, а послѣдняго онъ не можетъ испытывать безъ представленія о насиліи или кровопролитіи.

Дѣйствительный источникъ ученія Нитцше основывается такимъ образомъ на садизмѣ. Я бы хотѣлъ при этомъ сдѣлать замѣчаніе общаго характера; я на немъ не буду долго останавливаться, тѣмъ не менѣе особенно желалъ бы обратить на него вниманіе читателей. Въ успѣхѣхъ нездоровыхъ теченій въ искусствѣ и литературѣ главное мѣсто принадлежитъ половой психопатіи авторовъ. Всѣ утратившіе равновѣсіе—неврастеники, истерики, дегенераты, помѣшанные—обладаютъ особымъ нюхомъ по части половой извращенности и открываютъ ее подъ самыми разнообразными покровами. Правда, большей частью они сами не знаютъ, что имъ нравится въ данномъ произведеніи и его авторѣ. но ближайшее изслѣдованіе всегда раскрываетъ наличность въ объектѣ ихъ симпатіи какой нибудь Psychopathiase xualis. Мозохизмъ Вагнера и Ибсена, проповѣдь скопчества Толстого, эротоманія прерафаэлитовъ, садизмъ демонистовъ, декадентовъ и Нитцше вербуютъ для этихъ направленій многихъ, и главное, фанатичныхъ сторонниковъ. Произведенія этихъ творцовъ возбуждаютъ дремлющую, несознанную, можетъ быть, и не развитую, половую извращенность, доставляютъ удовольствіе, которое они искренно принимаютъ за эстетическое и духовное, хотя на самомъ дѣлѣ оно имѣетъ половую окраску. Только въ свѣтѣ этого объясненія становятся вполне понятны характерныя художественныя склонности ненормальныхъ <sup>1)</sup>. Это совпаденіе эстетиче-

<sup>1)</sup> Krafft-Ebing Neue Forschungen. Одинъ одержимый половой психопатіей больной пишетъ: „Я очень интересуюсь искусствомъ и литературой. Изъ поэтовъ и беллетристовъ наиболѣе привлекаютъ меня тѣ, которые описываютъ утонченныя чувства, своеобразныя страсти, изысканныя чувства; мнѣ очень также нравится вычурный стиль. Изъ музыки я наиболѣе люблю нервную, возбуждающую музыку Шопена, Шумана, Шуберта (!), Вагнера. Все, что есть въ искусствѣ не только оригинальнаго, но даже причудливаго, привлекаетъ меня“.—Другой больной пишетъ: „Я страстно люблю музыку и яв-

скихъ и половыхъ чувствъ не должно особенно поражать. Въ своей книгѣ „Въ поискахъ за истиной“ (Парадоксы) я уже указалъ, что области этихъ двухъ чувствъ не только не имѣютъ рѣзкой границы, а наоборотъ то и дѣло сливаются одна съ другой. Даже въ основѣ всѣхъ причудливостей костюма, особенно женскаго, лежитъ часто безсознательный расчетъ относительно какой нибудь стороны половой извращенности. Специалисты еще ни разу не посмотрѣли на моду съ этой точки зрѣнія. Я же лично не могу себѣ позволить такого отступленія отъ главной задачи своего изслѣдованія. Но я убѣжденъ, что удѣли психіатры вниманіе переменамъ моды, они въ этой области сдѣлали бы много замѣчательныхъ открытій.

Доказательству безсмысленности такъ называемой философской системы Ницше я посвятилъ гораздо больше мѣста и вниманія, чѣмъ она того заслуживаетъ. Было бы достаточно указать на довольно краснорѣчивый фактъ, что Ницше, побывавъ въ различныхъ домахъ умалишенныхъ, всюду былъ признаваемъ неизлѣчимымъ; теперь же вотъ уже нѣсколько лѣтъ онъ живетъ на попеченіи своей семьи, какъ неизлѣчимый слабоумный и впалъ въ крайнее духовное вырожденіе. Одинъ изъ критиковъ говоритъ, что „душевное помраченіе можетъ постигнуть и самый свѣтлый умъ; и нельзя отрицать явности и вѣрности всего того, что проповѣдывалъ какой нибудь мыслитель до катастрофы“. Но на это приходится сдѣлать то возраженіе, что главныя свои сочиненія Ницше написалъ въ промежутотъ между двумя приступами болѣзни, т. е. не „до“, а „послѣ“ наступленія катастрофы. Кроме того нужно всегда обращать вниманія на родъ того или иного помѣшательства. Если оно обусловлено какимъ нибудь внезапнымъ несчастьемъ, тогда, конечно, нельзя судить о вѣрности даннаго ученія на основаніи того лишь факта, что авторъ подвергся душевному заболѣванію. Но совершенно иначе обстоитъ дѣло въ томъ случаѣ, если болѣзнь такого характера, что существовала еще отъ рожденія писателя, когда есть даже возможность по самымъ произведеніямъ прослѣдить болѣзненное душевное состояніе автора. Тогда достаточно указать, что авторъ помѣшанный; всякая дальнѣйшая критика, всякое стремленіе разумнаго опроверженія противъ отдѣльныхъ глупостей будетъ совершенно излишне или даже, по крайней мѣрѣ въ глазахъ специалиста, нѣсколько смѣшно. Все это особенно примѣнимо по отношенію къ Ницше; внѣ всякаго сомнѣнія, онъ съ самаго рожденія былъ душевно больнымъ, и каждая страница его сочиненій носить на себѣ печать помѣшательства. Быть можетъ, жестоко останавливаться на самомъ фактѣ умственнаго расстройства. Но я считаю это священной, хотя и печальной, обязанностью. Ницше является источникомъ умственной эпидеміи, распространеніе которой только тогда можно будетъ остановить, когда ста-

---

люсь воодушевленнымъ поклонникомъ Вагнера; это предпочтеніе я замѣтилъ у большинства изъ насъ (т. е. у одержимыхъ извращеніемъ полового чувства; я нахожу, что именно эта музыка) наиболее соответствовать нашей сущности“ и т. д.

нетъ ясной вся глубина сумасшествія Нитцше, а его ученики получаютъ заслуженное названіе: истериковъ и тупоголовыхъ.

Цитированный уже нами Каачъ утверждаетъ <sup>1)</sup>, что „духовный поѣвъ Нитцше вездѣ уже начинается давать всходы. Одинъ изъ остроумныхъ взглядовъ Нитцше сталъ уже эпиграфомъ современной трагедіи, а одинъ изъ его рѣзкихъ оборотовъ вошелъ въ постоянное употребленіе. Теперь едва можно найти статью, которая, трактуя философскій вопросъ, не упомянула бы имени Нитцше“. Къ счастью, это только живое преувеличеніе. Дѣло не обстоитъ такъ плохо. Тѣ немногіе „философы“, которые приняли въ серъезъ дикую болтовню Нитцше, принадлежатъ, какъ я уже говорилъ, къ подонкамъ философіи; правда, число этихъ подонковъ стало расти, а ихъ дерзость превосходитъ всякое вѣроятіе.

Само собою разумѣется, что въ числѣ апостоловъ нитцшеанства мы видимъ Георга Брандеса. Но мы уже знаемъ, что эта умная голова примазывается ко всякой восходящей знаменитости, чтобы нажиться на ея славу. Онъ читалъ въ Копенгагенѣ лекціи о Нитцше, гдѣ „онъ восторженно отзывался объ этомъ германскомъ пророкѣ, для котораго миллевская мораль ничто иное, какъ болѣзненный симптомъ вырожденія эпохи; объ этомъ „радикальномъ аристократѣ“, который всѣ народныя движенія какъ реформацію, революцію и современный социализмъ считаетъ „возмущеніями рабовъ“, и который имѣлъ смѣлость утверждать, что многомиліонныя націи существуютъ только для того, чтобы въ теченіе вѣка произвести нѣсколько великихъ личностей“. <sup>2)</sup>

Робертъ Шельввицъ, одинъ изъ болѣе честныхъ послѣдователей Нитцше, сознается <sup>3)</sup>, что „ученіе“ послѣдняго врядъ ли „произведетъ сильное впечатлѣніе на вульгарный индивидуализмъ“ и, повидимому, скорбитъ объ этомъ, хотя считаетъ это ученіе величайшей ошибкой и односторонностью и дѣлаетъ все возможное, чтобы отчасти объяснить, отчасти критиковать болтовню своего „пророка“ своей собственной болтовней. Остальные ученики робко слѣдуютъ указаніямъ своего пророка. Статья Нитцше: „Шопенгауэръ, какъ воспитатель“ вызвала чудовищную пародію: „Рембрандтъ, какъ воспитатель“. Слабоумному автору этой пародіи не удалось, конечно, перенять бурлящій потокъ словъ и безумные скачки мысли помѣшаннаго писателя. Вообще едва ли можно пародировать это болѣзненное явленіе, но словесное фиглярство и бессмысленную эхололію прототипа авторъ пародіи усвоилъ вполнѣ, насколько позволяютъ ему его маленькія средства, онъ лопочетъ вслѣдъ пропитанному маніей величія, преступному индивидуализму Нитцше. Другой слабоумный, Альбертъ Книпъ <sup>4)</sup>, главнымъ образомъ, помѣшался на манерѣ Нитцше важничать и выступать съ забавной княжеской миной и жестами. Онъ называетъ себя

<sup>1)</sup> Dr. Hugo Kaatz, a. a. O. I Th. S. VI.

<sup>2)</sup> Ola Hansson — Das junge Scandinawien. Vier Essays. Dresden 1891 S. 12.

<sup>3)</sup> Robert Schellwien, a. a. O. S. 5, 6.

<sup>4)</sup> Albert Kniep, Theorie der Geisteswerthe. Leipzig, 1892.



„человѣкомъ высшаго вкуса и утонченныхъ чувствъ“, презрительно говоритъ о „будничномъ шумѣ непосвященной массы“, видитъ „мїръ ниже себя“, а себя „превознесеннымъ надъ этимъ мїромъ большинства“; онъ не хочетъ „выходить на улицу и расточать свою мудрость передъ каждымъ“ и т. д.—совершенно въ духѣ Заратустры, обитавшаго на высочайшихъ вершинахъ. Упомянувшійся уже докторъ Максъ Цербеть, повидному, подобно Нитцше, считаетъ себя страшнымъ и глубоко убѣжденъ, что его противники дрожатъ передъ нимъ. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онъ заставляеть ихъ говорить, онъ вкладываетъ въ ихъ уста визгливые отъ страха звуки <sup>1)</sup> и наслаждается съ жестоко насмѣшливымъ превосходствомъ тѣмъ страхомъ, который онъ имъ внушаетъ. Такое поведение естественно у помѣшанныхъ и вызываетъ состраданіе. Но если подобнымъ образомъ ведетъ себя такой молодецъ, какъ докторъ Максъ Цербеть, то это вызываетъ только смѣхъ, и докторъ весьма напоминаетъ собою того „юнаго джентельмена съ слабыми ногами“ изъ „Записокъ Пикквикскаго Клуба“ Диккенса, который „вѣрнѣе только въ кровь“ и „крови хочетъ“. У Цербета хватаетъ еще дерзости говорить „о естествознаніи и психо физиологич“. Поклонники Нитцше словно сговорились между собою и сумасшедшаго словоизвергателя, которому они поклоняются, выдаютъ за психо-физиолога и естествоиспытателя. Ола Ганссонъ говоритъ о психо-физиологической интуиціи Нитцше, а въ другомъ мѣстѣ признаеть, что Нитцше, этотъ „современный, тонкій психологъ въ высшей степени обладаетъ психо-физиологической интуиціей, присущей концу XIX в., и способностью въ самомъ себѣ прослѣдить самые сокровенные процессы и изгибы души“. Психо-физиологическая интуиція! Способность въ самомъ себѣ прослѣдить сокровенные процессы! Просто глазамъ не вѣришь. Эти люди, повидному, и понятія не имѣютъ о томъ, что такое психика; что она является прямою противоположностью старой психологич, которая имѣла дѣло съ интуиціей и интроспекціей; они, повидному, не подозреваютъ, что современная психо-физика дѣлаетъ свои выводы въ лабораторіяхъ, выводы, опирающіеся на опыты надъ другими людьми. И просто поражаешься, что такая болтовня безмозглыхъ попугаевъ возможна въ Германіи, въ той самой Германіи, которая создала современную научную психологию, которая является отечествомъ Фехнера, Вебера и Вундта; поражаешься и тому, что до сихъ поръ еще никто не взялся обуздать этихъ мальчишекъ, невѣжество которыхъ можетъ соперничать лишь съ ихъ нахальствомъ. Но про-

1) Докторъ Максъ Цербеть, а. а. О., стр. 1: „О, это современное естествознаніе! О, эти современные психологи!—Для нихъ нѣтъ ничего святого!“ „Когда одинъ изъ великихъ въ школѣ хилаго „идеализма“ является предъ такимъ суровымъ изслѣдователемъ..., тогда этотъ безбожный человѣкъ беретъ въ руки кусокъ мѣлу“ и т. д. Онъ „обращается къ озадаченному идеалисту“, и послѣдній „что то бормочетъ въ отвѣтъ“ и „въ смущеніи что то добавляетъ“, на что „юный психологъ отвѣчаетъ лишь легкимъ пожатіемъ плечъ“. „Само собой понятно, „суровый“, „безбожный“, „пожимающій плечами юный психологъ“—это онъ, Цербеть, а хилый „идеалистъ, бормочущій и смущенный“—его противникъ, докторъ Тюркъ!

изошло нѣчто худшее, передъ тѣмъ прекращается всякій смѣхъ. К. Эйсеръ <sup>1)</sup>, который хотя и не является безусловнымъ сторонникомъ „философіи“ Нитцше, находитъ однако, что онъ намъ оставилъ „замѣчательныя поэтическія творенія, хотя бы „Заратустра“, котораго можно поставить на ряду съ Гетевскимъ „Фаустомъ“. Невольно тотчасъ же является вопросъ, да читалъ ли Эйсеръ „Фауста“? Но такъ какъ трудно все таки предположить, чтобы даже и онъ ни разу не держалъ въ рукахъ Гете, то возникаетъ другой вопросъ, что понималъ онъ при чтеніи „Фауста“? Сопоставленіе „Заратустры“ и „Фауста“ служитъ такимъ оскорбленіемъ великаго поэтическаго сокровища, что если бы оно было совершенно болѣе значительнымъ человѣкомъ, тѣмъ Эйсеръ, необходимо было бы совершить всеобщее покаяніе, дабы смыть позоръ, причиненный Гете.

Банда поклонниковъ Нитцше дѣйствуетъ не въ одной только Германіи; она переноситъ свои безчинства и въ другія стороны. О. Ганссонъ <sup>2)</sup> болтаетъ своимъ шведскимъ соотечественникамъ о „поэзіи“ Нитцше и его „полночномъ гимнѣ“. Т. де-Возева <sup>3)</sup> увѣряетъ французовъ, которые не въ состояніи провѣрить правильности его утвержденій, что Нитцше можно назвать „самымъ великимъ мыслителемъ и самымъ блестящимъ писателемъ Германіи конца XIX вѣка“ и т. д.

Поклонники Нитцше, повидимому, отличаются рыцарскими наклонностями. Пальму первенства въ наглости отрицанія всякой очевидной истины они предоставили женщинамъ.—Г-жа Луи Саломэ съ невозмутимостью, способной привести въ бѣшенство самаго нечувствительнаго зрителя, поворачивается спиной къ фактамъ; какъ будто не зная о долготѣней неизлѣчимой болѣзни Нитцше, она заявляетъ о томъ, что Нитцше изъ аристократическаго презрѣнія къ міру пересталъ писать и удалился въ глубокое уединеніе. „Нитцше естествоиспытатель и психо-физиологъ“ и „Нитцше молчитъ, потому что не считаетъ нужнымъ обращаться съ проповѣдью къ стаднымъ животнымъ“—таковы фразы, которыя пускаетъ по міру клика нитцшеанцевъ. Въ виду такого заговора противъ истины, благочестія и здраваго смысла недостаточно указать на бессмысленность системы Нитцше; надо доказать еще, что Нитцше всегда былъ помѣшанъ, что его произведенія именно и являются продуктомъ буйнаго помѣшательства.

Нѣкоторые нитцшеанцы, конечно, уступающіе въ смѣлости госпожѣ Луи Саломэ, не отрицаютъ, что Нитцше помѣшанъ; но они утверждаютъ, что таковымъ онъ сталъ вполнѣдствіи. Они объясняютъ сумашествіе Нитцше очень долгимъ одиночествомъ и слишкомъ интенсивной лихорадочной умственной работой. Эта

<sup>1)</sup> Kurt Eisner, Psychopathia spiritualis. Friedrich Nitzsche und die Apostel der Zukunft. Leipzig, 1892.

<sup>2)</sup> Ola Hansson, Materialismen i skönlitteraturen. Populärvetenskapliga (научныя!) Afhandlingar. Stockholm, годъ изданія не обозначенъ. Въ этой брошюркѣ онъ называетъ „гениальнымъ“ даже автора книги „Рембрандтъ, какъ воспитатель“.

<sup>3)</sup> Revue politique et littéraire. Годъ изданія 1891

нелѣпость была подхвачена всѣми нѣмецкими газетами; изъ нихъ не нашлось ни одной, которая бы догадалась замѣтить, что помѣшательство никогда не можетъ быть результатомъ одиночества и лихорадочной работы мысли, а наоборотъ, самое стремленіе къ одиночеству и лихорадочной работѣ мысли служить первоначальнымъ и вѣрнымъ показателемъ ненормальности; ни одна газета не догадалась замѣтить, что болтовня нитцшеанцевъ сводится къ утвержденію, будто человѣкъ отъ долгаго капля и кровохарканія заболѣлъ чахоткой!

О „мизантропії“ Нитцше свидѣтельствуютъ его биографы <sup>1)</sup>, которые приводятъ нѣсколько замѣчательныхъ примѣровъ. Что же касается его послѣдней умственной дѣятельности, то это явленіе неизмѣнно сопутствующее всякому помѣшательству. Я приведу мнѣнія ученыхъ авторитетовъ по этому поводу. Ускоренное теченіе мысли при маніи, говоритъ Гризингеръ <sup>2)</sup>, является результатомъ большей легкости, съ какой больноіъ связываетъ свои представленія; онъ рассказываетъ разныя небывшцы, декламируетъ, поетъ, пользуется всѣми средствами для выраженія своихъ представленій, перескакиваетъ съ одного предмета на другой. Такое ускоренное теченіе представленій наблюдается при извѣстныхъ формахъ помѣшательства и психической слабости съ „активностью, вызванной галлюцинаціями“, при этомъ логическая послѣдовательность мысли либо отчасти страдаетъ, какъ у психондриковъ, либо не подчиняется никакому закону и мы видимъ одни только звуки и слова, лишеныя всякаго смысла. Такимъ образомъ возникаетъ безудержная смѣна идей, въ потокъ которой всѣ мысли сплетаются въ самыхъ причудливыхъ формахъ. Послѣднее состояніе чаще всего наблюдается при буйномъ помѣшательствѣ; при его возникновеніи часто наблюдается повышенная умственная дѣятельность. Извѣстны случаи, когда вѣрнымъ признакомъ приближающагося помѣшательства служилъ тотъ фактъ, что больноіъ становится остроумнымъ“.

Еще нагляднѣе слова Крафтъ-Эбинга <sup>3)</sup>: „Сознаніе наполнено здѣсь, при маниакальной экзальтаціи, чувствомъ радости, психической удовлетворенности. Это чувство вовсе не обусловлено явленіями внѣшняго міра; причина его часто внутренняя, органическая. Больноіъ наслаждается радостнымъ чувствомъ и послѣ выздоровленія говоритъ, что никогда онъ себя такъ хорошо не чувствовалъ, какъ во время болѣзни... Это внезапное чувство удо-

<sup>1)</sup> „Во время своего продолжительнаго пребыванія въ уединенной горной долинѣ Нитцше... имѣлъ обыкновеніе... лежать на поросшей зеленюю кося, вдававшейся въ море. Однажды весной возвратился онъ сюда и увидѣлъ что на томъ самомъ священномъ (!) мѣстѣ, гдѣ нѣкогда витали его сокровенныя мысли и образы, поставлена скамейка, на которую могъ сѣсть отдыхать любой профанъ. Одинъ видъ этихъ слишкомъ человѣческихъ (!) стѣдовъ былъ достаточно для того, чтобы сдѣлать невыносимымъ прежде любимое мѣстопробываніе. Онъ никогда больше сюда не возвращался“. Ola Hansson, приведено въ книгѣ доктора Тюрка, S. 10.

<sup>2)</sup> Dr. Willh. Griesinger, a. a. O. S. 77.

<sup>3)</sup> Dr. K. Krafft-Ebing, Lehrbuch der Psychiatrie auf klinischer Grundlage für praktische Alrzte und Studierende. Vierte theilweise umgearbeitete Auflage. Stuttgart, 1890. S. 363.

вольствія значительно усиливается... сознаниемъ возможности болѣе быстро составлять себѣ представленія... У больного возникаетъ свѣтлое настроеніе, доходящее до аффекта, которое находитъ себѣ внѣшнее выраженіе въ пѣніи, танцахъ... Рѣчь становится плавнѣе... благодаря ускоренной ассоціаціи идей большой быстро находитъ мѣткія возраженія, становится остроумнымъ. Переполненіе его сознания даетъ неистощимый запасъ матеріала для разговора, а ненормально ускоренное теченіе мыслей, когда нѣкоторыя представленія не находятъ себѣ выраженія, производитъ впечатлѣніе отрывочности. Больной продолжаетъ еще критически относиться къ своему собственному состоянію; онъ называетъ себя дуракомъ, а дуракамъ все дозволяется. Вообще больной не можетъ нахвалиться своимъ здоровьемъ и хорошимъ настроеніемъ“.

Я постараюсь привести нѣсколько примѣровъ каждой изъ этихъ болѣзненныхъ чертъ, при этомъ еще разъ напоминаю, что такихъ примѣровъ можно было бы привести въ сто разъ больше; достаточно для этого раскрыть любую страницу произведеній Нитцше.

У Нитцше постоянно носятъ представленія о смѣхѣ, пляскѣ, о летаніи о движеніи безъ всякой усилій, о стремительности и паденіи. „Будемъ избѣгать страсть, жалобное лицо при словѣ пытка... въ ней есть кое что и смѣшное“.

„Мы подготовлены... къ торжественной масляницѣ, къ духовному масляничному смѣху и веселью, къ трансцендентальной высотѣ высшаго безумія и аристократической насмѣшки надъ міромъ... Возможно, что въ то время, какъ все насъ окружающее липнео будущности, только одинъ смѣхъ имѣетъ ее“.

„Я бы установилъ извѣстную іерархію философовъ по ихъ способности смѣяться: на вершинѣ лѣстницы поставилъ бы я философовъ, могущихъ возвыситься до золотого смѣха... Боги очень смѣшливы; они даже и при священнодѣйствіи, повидимому, не могутъ воздержаться отъ смѣха“.

„Ахъ, но что же вы, мои написанныя и нарисованныя мысли. Недавно еще вы были такъ пестры и молоды и злы..., что заставляли меня чихать и смѣяться“.

„Теперь міръ смѣется, разорвалась страшная завѣса“.

„Не гнѣвомъ, но смѣхомъ убиваютъ. Убьемъ же духа тяжести“.

„Поистинѣ есть люди, цѣломудренныя отъ природы: они мягче сердцемъ, они смѣются охотнѣй и больше, чѣмъ вы. Они смѣются и надъ цѣломудріемъ и спрашиваютъ: „Что есть цѣломудріе?“

„Но еслибъ Онъ (Иисусъ Христосъ) остался въ пустынѣ, можетъ быть, онъ тогда научился бы жить и научился бы любить землю—и къ тому же смѣяться“.

„Слишкомъ велико было напряженіе моей тучи: среди смѣха молніи я буду мечтать въ глубинѣ градъ“.

Какъ можно замѣтить, представленіе о смѣхѣ ни разу не является логически связаннымъ съ ходомъ мысли; оно скорѣй сопутствуетъ мысли, какъ основное состояніе, какъ постоянное навязчивое представленіе, которое обусловлено буйнымъ раздраженіемъ мыслительныхъ центровъ. Точно также обстоитъ дѣло съ представленіями о пляскѣ, о летаніи и т. д.: „Я бы повѣрилъ только такому богу, который могъ бы танцовать“.

„Я бы хотѣлъ танцовать такъ, какъ я еще ни разу не танцовалъ; пронестись въ

пляскѣ надъ всѣми небесами“. „Постоянное движеніе между высокимъ и глубокимъ и чувство вышины и глубины подобно постоянному подъему на лѣстницѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ отдыху въ облакахъ“. „Только танцуя я могу давать образы возвышеннѣйшихъ вещей“. „Ту блаженную увѣренность нахожу я еще во всѣхъ вещахъ, что онѣ охотнѣе танцуютъ еще на ногѣ случая. О, небо надо мной, ты чистое! Выше! Въ томъ заключается для меня твоя чистота, что ты служишь мѣстомъ для танцевъ божественныхъ случайностей“. „Спросите мою ногу... при такомъ тактѣ она не можетъ ни танцовать, ни стоять спокойно“. „И прежде всего я учился стоять, и ходить, и бѣгать, и прыгать, и лазить, и танцовать“. „Это прекрасное шутовство—человѣческая рѣчь; съ ней человѣкъ танцуя проходитъ всѣ вещи“. „Ты бросилъ взгляды на мою ногу, неистово жаждущую танца“ и т. д.

Въ приведенныхъ до сихъ поръ примѣрахъ мы видимъ сумасбродныя представленія; въ дальнѣйшихъ выражается болѣзненное раздраженіе чувственныхъ центровъ. Дѣйствительно, Нитцше подверженъ галлюцинаціямъ зрѣнія, обманамъ слуха, вкуса и обонянія. „Я сгораю отъ своихъ мыслей“. „Ахъ, ледъ окружаетъ меня, онъ жжетъ мою руку“. „Солнце собственной любви сожгло меня; въ собственномъ соку вываривался Заратустра“. „Позаботьтесь, чтобы у меня тамъ подъ рукой былъ медъ... хорошій, холодный, свѣжій медъ въ золотистыхъ сотахъ“. „Въ самую холодную воду бросился я, окунувшись съ головой и сердцемъ“. „Я сижу здѣсь... и жажду круглаго дѣвичьяго рта; но еще болѣе дѣвичьихъ, холодныхъ какъ ледъ, бѣлыхъ какъ снѣгъ, острыхъ кусающихся зубовъ“. „Съ глубокими проблемами я поступаю, какъ съ холоднымъ купаньемъ—сюда нырну, тамъ вынырну... О! сильный холодъ дѣйствуетъ быстро“. „Бурею, которая называется духъ, дулъ я черезъ твое волнующее море; всѣ облака унесъ я оттуда дуновеніемъ“. „Ледяная пещера называла бы наше счастье ихъ плоти и ихъ душамъ! И, какъ сильные, будемъ мы жить надъ ними... И подобно вѣтру буду я еще однажды дуть межъ ними“. „Я—свѣтъ... но въ томъ и заключается мое одиночество, что я опоясавъ снѣгомъ... Во моемъ собственномъ свѣтѣ живу я и самъ поглощаю пламя, которое вырывается изъ меня“. „Нѣмая вышла ты ко мнѣ сегодня надъ бушующимъ моремъ“. „Они совершенно не догадываются о моемъ бушующемъ счастьѣ“. „Пой и бушуй сверху, Заратустра“. „Слишкомъ бурно стремишься ты ко мнѣ, источникъ веселья... бурно и пылко стремится къ тебѣ мое желаніе“.

„Запахъ и мудрости напоминаетъ запахъ, исходящій изъ болота“. „Ахъ, какъ долго я жилъ въ ихъ шумѣ и зловонномъ дыханіи. О, блаженный покой, окружающій меня! О, чистые запахи, окружающіе меня!“.

Мышленіе Нитцше, какъ явствуетъ изъ приведенныхъ примѣровъ, получаетъ свою окраску отъ обмановъ чувствъ и раздраженія центровъ, вырабатывающихъ двигательныя представленія, которыя, вслѣдствіе поврежденія механизма соединеній, не могутъ превратиться въ двигательные импульсы; но остаются чистыми образами представленій безъ вліянія на мускулы.

Что касается формы мышления Нитцше, то она позволяет отмѣтить двѣ характерныя черты помѣшательства: полное господство нестѣсенной ни контролемъ вниманія, ни логическою послѣдовательностью ассоціаціи идей, и стремительную быстроту мыслительныхъ процессовъ.

Какъ только въ его головѣ возникаетъ какое нибудь представленіе, оно тотчасъ вызываетъ и всѣ себѣ родственныя, и Нитцше набрасываетъ на бумагу пять-шесть, часто восемь синонимовъ, самъ не замѣчая, какъ тяжелъ и напыщенъ становится благодаря этому его слогъ. „Самъ духъ измѣряется тѣмъ..., поскольку онъ дѣлаетъ истину тощей, задержанной, подслащенной, поддѣланной“ „Всѣ эти блѣдные атеисты, антихристы, имморалисты, нигилисты, скептики, эффектики“ и т. д.

Уже изъ этихъ примѣровъ внимательный читатель могъ убѣдиться, что бурное словоизверженіе часто обусловливается простымъ созвучіемъ словъ. Нерѣдко потокъ словъ превращается въ игру словъ, глупѣйшій каламбуръ, въ механическое панизываніе словъ по [ихъ созвучію безъ всякаго вниманія къ ихъ смыслу.

Иногда Нитцше ошибается въ значеніи возникающихъ въ его лихорадочно возбужденномъ сознаніи словъ—образовъ; охватывая на лету какое нибудь слово, онъ затѣмъ образуетъ новое, сходное съ кореннымъ по произношенію, но имѣющее совсѣмъ иной смыслъ.

Часто онъ соединяетъ представленія не по созвучію словъ, но по сходству или обычному сосѣдству понятій; тогда возникаетъ такъ называемое „аналогичное“ мышленіе, беспорядочно перескакивающее съ одного предмета на другой. Говоря объ „аскетическомъ идеалѣ“, онъ указываетъ, напр., на то, что сильные и благородные умы удаляются въ пустыню и затѣмъ прибавляетъ: „Впрочемъ, и въ ней нѣтъ недостатка въ верблюдахъ“. Представленіе о пустынѣ заставило его упомянуть о связанномъ обыкновенно представленіи о верблюдѣ. Въ другомъ мѣстѣ онъ указываетъ на полное „непониманіе хищнаго звѣря и хищнаго человѣка, въ родѣ Цезаря Борджіа; люди совершенно не понимаютъ природы, если усматриваютъ болѣзненность въ основѣ самыхъ здоровыхъ изъ всѣхъ тропическихъ чудовищъ. Повидимому, моралисты ненавидятъ первобытный лѣсъ и тропики, и полагаютъ, что тропическаго человѣка всячески слѣдуетъ унижить. Почему? Должно быть во славу умѣреннаго пояса, умѣренныхъ, посредственныхъ людей“. Воспоминаніе о Цезарѣ Борджіа соединилось у него съ представленіемъ о хищномъ животномъ; это напомнило ему о тропикахъ, о полосѣ жаркаго пояса; отъ жаркаго онъ переходитъ къ умѣренному поясу и (вслѣдствіе созвучія словъ) къ умѣреннымъ, посредственнымъ людямъ. „По истинѣ уже ничего больше не остается отъ міра кромѣ земныхъ сумерекъ и зеленыхъ молній. Поступайте съ этимъ, какъ хотите, въ надменные... низвергайте ваши смарагды въ глубочайшую глубину“. Совершенно непонятны смарагды возникаютъ въ сознаніи подъ влияніемъ представленія о „зеленыхъ сумеркахъ и молніяхъ“.

Въ подобныхъ случаяхъ можно въ извѣстной мѣрѣ прослѣдить ходъ мыслей Нитцше, потому что здѣсь сохранились всѣ промежуточные звенья ассоціаціи идей; но часто бываетъ такъ, что нѣкоторые изъ этихъ звеньевъ отсутствуютъ и тогда получается потокъ совершенно для читателя непонятныхъ мыслей. „Тѣло начало сомнѣваться въ землѣ и прислушиваться къ тому, что говорилъ животъ бытія“. „Честнѣе и чище говорить здоровое тѣло, совершенное и прямоугольное“. „Я учтивъ съ ними, какъ со всякой маленькой досадой; быть язвительнымъ къ малому представляется мнѣ мудростью сна“. „Глубокое желтое и горячее красное: такъ хочетъ мой вкусъ.—Онъ примѣшиваетъ кровь ко всѣмъ краскамъ. Но кто красить въ бѣлое свой домъ, тотъ обнаруживаетъ выкрашенную въ бѣлую душу“. „Мы поставили нашъ стулъ посрединѣ—объ этомъ сказала мнѣ ихъ улыбка,—одинаково далеко, какъ отъ умирающихъ борцовъ, такъ и отъ сытыхъ свиней... Но и это есть посредственность“. „Наша современная Европа... скептическична... то тѣмъ подвижнымъ скептицизмомъ, который нетерпѣливо и похотливо прыгаетъ съ одного сука на другой, то мраченъ, какъ туча, обремененная вопросительнымъ знакомъ“. „Положимъ, что онъ („отважный мыслитель“) для самого себя достаточно закашилъ и наострилъ свои глаза“. „Мнѣ стало уже тяжело про себя хранить свои мысли, а пная птица улетаетъ. И иногда я нахожу также залетѣвшее въ мою голубятню животное, которое совершенно мнѣ чуждо и дрожить, когда я кладу на него руку“. „Что есть въ моей справедливости? Я не вижу, чтобы я былъ жаръ и уголь“. „Они научились у моря также и его чванливости: развѣ море не павлинь пзъ павлиновъ?“ „Какъ называютъ теперь величайшей злобой то, что имѣетъ лишь 12 футовъ въ ширину и 3 мѣсяца въ длину? Но нѣкогда явятся на свѣтъ болѣе огромные драконы“. И если у тебя нѣтъ никакихъ лѣстницъ, то ты долженъ умѣть еще подняться на твою голову: какъ иначе желалъ бы ты подняться вверхъ?“ „Я сижу здѣсь и вдыхаю лучшій воздухъ, по-истинѣ райскій воздухъ, свѣтлый, легкій, съ золотыми полосами, воздухъ, лучшій, который только когда либо ниспадалъ съ луны“. „Вверхъ, достоинство! Достоинство добродѣтели! Достоинство европейца! Снова, снова раздуйвайся мѣхъ добродѣтели! Еще разъ рычите, нравственно рычите! Рычите, какъ нравственный левъ предъ дочерью пустыни! Ибо вой добродѣтели больше значить, мои прекрасныя дѣвушки, чѣмъ все рвеніе и алчность европейца! И вотъ я стою уже европейцемъ, иначе я не могу; Богъ да будетъ мнѣ въ помощь! Аминь! Пустыня растетъ; горе тому, кто скрываетъ въ себѣ пустыню!“

Это послѣднее мѣсто служить примѣромъ полнѣйшаго хаоса мысли. Нитцше часто теряетъ нить своихъ разсужденій, забываетъ, къ чему онъ ведетъ рѣчь, и предложеніе, которое, казалось, должно бы служить вѣскимъ аргументомъ, кончается совершенно не идущей къ дѣлу остротой. „Одинъ всегда около меня лишній, думаетъ пустынный. Однажды одинъ въ концѣ концовъ даетъ два!“ „Какъ называютъ они то, что дѣлаетъ ихъ гордыми? Образованіемъ; оно отличаетъ ихъ отъ пастуха овецъ“—„Почему мѣръ, который насъ касается,—не можетъ быть фикціей? И тотъ,

кто спрашиваетъ: но для фѣкціи необходимъ виновникъ—развѣ тому нельзя просто на просто отвѣтить: почему? Не составляетъ ли это „необходимъ“ фѣкціи? Развѣ не позволительно относиться нѣсколько прощически къ подлежащему, сказуемому и объекту? Развѣ не можетъ философъ подняться выше вѣры въ грамматику? Почтеніе гувернанткамъ: но не пора ли философѣ отка-заться отъ вѣры гувернантокъ?“

Иногда, наконецъ, нить у него совершенно теряется, онъ обрываетъ фразу, съ тѣмъ, чтобы начать другую. „Французскіе психологи все еще не истощили своей проны, потѣшаясь надъ *bêtise bourgeoise*, какъ будто бы они... но дальше я говорить не стану, они этимъ выдадутъ сами себя“. „Были философы, которые умѣли придавать этому народному удивленію еще соблазнительное выраженіе... вмѣсто того, чтобы поставить голую и крайне дешевую истину, что „незаинтересованное“ дѣйствіе есть дѣйствіе весьма интересное и „заинтересованное“.—А любовь?“

Таковъ процессъ мышленія Нитцше. Онъ дѣлаетъ понятнымъ, почему Нитцше не написалъ хотя бы нѣсколькихъ связанныхъ страницъ, а выражаетъ свои мысли въ короткихъ или длинныхъ „афоризмахъ“.

Содержаніе этого безсвязнаго потока его мыслей составляетъ небольшое число навязчивыхъ представленій, повторяющихся съ однообразіемъ, способнымъ довести до отчаянія. Мы уже указали на интеллектуальный садизмъ Нитцше и его манію противорѣчія и сомнѣнія. Кромѣ того, у него обращаетъ на себя вниманіе мизантропія, манія величія и мистицизмъ.

Примѣровъ его мизантропіи полна каждая страница его произведеній: „не достаточно любятъ свое познаніе, развѣ его со-общаютъ другимъ.“ „Всякая общность дѣлаетъ какъ нибудь, гдѣ нибудь, когда нибудь, вообще“. „Для одинокихъ и двухъ (!) пусты многія положенія, около которыхъ виситъ запахъ тихаго моря“. „Бѣги, мой другъ, въ твое одиночество!...“ „И кто ушелъ отъ жизни, ушелъ только отъ сволочи.... и кто ушелъ въ пустыню и съ хищными животными терпѣлъ жажду, тотъ не хотѣлъ только сидѣть у колодца съ грязными погонщиками верблюдовъ“.

Его манія величія только въ рѣдкихъ случаяхъ проявляется въ видѣ чудовищнаго, но все же еще понятнаго, самомнѣнія; большей же частью тутъ примѣшивается мистицизмъ и вѣра въ свою сверхъестественность. Онъ выказываетъ простое самомнѣніе, когда говорить: „что касается моего Заратустры, то я не могу считать его знаткомъ того, кто хотя бы развѣ не почувствовалъ себя либо уязвленнымъ, либо восхищеннымъ имъ; только тогда онъ получаетъ право благоговѣнно приобщиться къ халкіонской стихіи, народившей это твореніе, къ его солнечному блеску шири и дали“. Или когда онъ, раскритиковавъ и умаливъ Бисмарка, обращается къ себѣ съ прозрачнымъ намекомъ: „но я, въ своемъ счастьи и потустороннемъ бытіи, рѣшилъ, развѣ надъ сильнымъ болѣе сильный становится господиномъ“. За то въ другихъ мѣстахъ онъ явно обнаруживаетъ скрытый мистическій характеръ своей маніи величія. „Долженъ же когда нибудь наступить моментъ, когда явится къ намъ испугляющій человѣкъ, человѣкъ вели-



кой любви и великаго презрѣнія, творческій духъ, отовсюду вытѣсняемый собственной силой, непонятый народомъ въ своемъ одиночествѣ, какъ будто онъ представляетъ бѣгство предъ дѣйствительностью, тогда какъ оно составляетъ погруженіе, зарываніе, углубленіе въ самую эту дѣйствительность“.

Въ словахъ: „искупляющій человѣкъ“, „искупленіе“—вполнѣ обнаруживается природа маніи величія Нитцше. Онъ воображаетъ себя новымъ Спасителемъ, и въ своихъ произведеніяхъ и по формѣ, и по содержанию подражаетъ Евангелію. „Такъ говорилъ Заратустра“—написано по образцу священныхъ книгъ восточныхъ народовъ. Книга раздѣлена, подобно Библии и Корану, на главы и стихи: языкъ старинный, пророческій (Заратустра узрѣвъ народъ, удивился, затѣмъ сказалъ); встрѣчается много длинныхъ, напоминающихъ церковное чтеніе, перечисленій (Я люблю тѣхъ, которые не ищутъ за звѣздами причины, но которые отдаютъ себя землѣ... Я люблю того, кто живетъ, чтобы познать... Я люблю того, кто работаетъ и изобрѣтаетъ... Я люблю того, кто любитъ свою добродѣтель... Я люблю того, кто ни капли духа не оставляетъ при себѣ и т. д.) Нѣкоторыя мѣста прямо дословно напоминаютъ Евангеліе. Напр.: „Когда Заратустра удалился изъ города, за нимъ послѣдовали многіе, называвшіе себя его учениками, и сопровождали его. Когда они дошли до перекрестка, Заратустра сказалъ, что дальше хочетъ идти одинъ. „А счастье духа въ слѣдующемъ: быть помазаннымъ и слезами оплаканнымъ, какъ жертвенное животное“. „Да, сказалъ онъ своимъ ученикамъ: скоро наступятъ долгія сумерки. Неужели же я долженъ пережить мой свѣтъ?“ „Такъ, опечаленный въ сердцѣ своемъ, шелъ Заратустра, и три дня не принималъ онъ ни пищи, ни питья. Наконецъ, онъ впалъ въ глубокій сонъ. Но ученики сидѣли около него безъ сна въ теченіе долгихъ ночей“. Характерны также и выразительны заглавія: „О самоопредѣленіи“, „О незапятнанномъ познаніи“, „О великихъ событіяхъ“, „Объ искупленіи“, „На Эленской горѣ“, „Объ отступникѣ“, „Крикъ о помощи“, „Вечерняя трапеза“, „Пробужденіе“ и т. д. Случается, что Нитцше начинаетъ отрицать боговъ. „Если бы существовали боги, какъ бы я могъ удержаться, чтобы не сдѣлаться богомъ! Слѣдовательно—боговъ нѣтъ!“ Но такія мѣста ступеньваются въ сравненіи съ тѣми безчисленными мѣстами, гдѣ онъ считаетъ себя богомъ. „Ты имѣешь силу и не хочешь властвовать“. „Но тотъ, кто подобенъ мнѣ, тотъ не избѣгнетъ часа, который скажетъ ему: „нынѣ только ты вступишь на путь своего величія; тогда ты пойдеши по пути своего величія... Теперь твоимъ крайнимъ убѣжищемъ стало то, что до сихъ поръ называлось твоей крайней опасностью. Ты идеши по пути своего величія. Мужествомъ должно окрылять тебя сознаніе, что позади не осталось для тебя иной дороги. Ты идеши по пути своего величія: здѣсь никто не долженъ слѣдовать за тобой“ и т. д.

„Мистицизмъ и манія величія Нитцше проявляется не только въ связныхъ мысляхъ Нитцше, но и въ его общей манерѣ выражаться. Мистическія числа, три и семь, часто встрѣчаются въ его произведеніяхъ. Не только себя, но и окружающій вѣш-

ній міръ онъ представляетъ себѣ великимъ, далекимъ, глубокимъ, и слова, выражающія эти понятія, такъ и мелькаютъ на каждой страницѣ, почти на каждой строчкѣ. „Дисциплина страданія, великаго страданія“... „Югъ—великая школа выздоровленія“. „Эти послѣдніе великіе ищущіе“... „Съ печатью великой судьбы“. „Гдѣ онъ училъ великому состраданію и великому презрѣнію, онъ училъ и великому почитанію“. „Преступленіе—всякое великое существованіе“. „О, еслибы мнѣ удалось вмѣстѣ съ вами отпраздновать великій полдень!“ „Такъ говоритъ всякая великая любовь“. „Не отъ васъ должна придти мнѣ великая усталость“. „Люди, которые ничто иное, какъ великій глазъ, или великая пасть, или великое брюхо, или что нибудь великое...“ „Любить великой любовью, любить великимъ презрѣніемъ“. „Но ты, глубокий, страдаешь слишкомъ глубоко“. „Непоколебима моя глубина, но блеститъ она мерпающими загадками и смѣхомъ“. (Обратите вниманіе, какъ въ этихъ фраззахъ нагромождены навязчивыя представленія помѣшаннаго: глубина, блескъ, манія сомнѣнія, стремленіе смѣяться). „Все глубокое должно подняться до моей высоты“. „Вы думаете недостаточно въ глубину“—и т. д. Съ представленіемъ о глубинѣ связывается представленіе о пропасти, о которой мы тоже очень часто читаемъ въ его произведеніяхъ. Слово „пропасть“ также принадлежитъ къ наиболее часто употребляемымъ Нитцше. Вслѣдствіе его навязчивыхъ представленій о движеніи, о полетѣ и пареніи, мы постоянно встрѣчаемъ у него слово „сверхъ“ (Сверхъ—„сверхъ-европейская музыка“, „сверхъ-герой“, „сверхъ герой“, „сверхъ человѣкъ“ „сверхъ-драконъ“ и т. д.).

Какъ это обыкновенно бываетъ у буйно-помѣшанныхъ, Нитцше сознаетъ происходящія въ немъ болѣзненные процессы и многократно указываетъ на стремительно быстрое теченіе своей мысли и на свое сумасшествіе. „Они считаютъ мысль чѣмъ то медлительнымъ; она вовсе не кажется имъ легкимъ, божественнымъ, родственнымъ танцу“. „Смѣлый, легкій, нѣжный ходъ и теченіе его мыслей“, „мы мыслимъ слишкомъ быстро... дѣло обстоитъ такъ, какъ будто въ нашей головѣ безпрестанно вертится машина“. „Нетерпѣливые умы наслаждаются помѣшательствомъ, такъ какъ помѣшательство обладаетъ быстрымъ темпомъ“. „Слишкомъ медленной кажется мнѣ всякая рѣчь; въ твою колесницу вскакиваю я, буря!.. Мнѣ хотѣлось бы пронестись подобно крику или вздоху по широкому морю“. „Надъ человѣчествомъ въ видѣ величайшей опасности всегда носится готовое обнаружиться сумасшествіе“ (онъ понятно думаетъ о себѣ, когда говоритъ о „человѣчествѣ“). „Теперь случается по временамъ, что мягкій, умѣренный, сдержанный человѣкъ вдругъ неожиданно становится бѣшеннымъ, бьетъ тарелки, опрокидываетъ столы, кричитъ, оскорбляетъ весь міръ и, наконецъ, пристыженный уходитъ, негодуя на самого себя“. (Дѣйствительно, это случается теперь, случалось и всегда, но только съ одними лишь помѣшанными). „Гдѣ то безуміе, которое надо вамъ привить? Смотрите, я учу васъ сверхъ-человѣку, а онъ и есть это безуміе“. „Всякій имѣетъ одинаковое значеніе. Всякій одинаковъ съ другими. Кто чувствуетъ иначе, тотъ

добровольно (?) идетъ въ домъ для помѣшанныхъ“. „Эту надменность и эту глупость поставилъ я на мѣсто той воли, когда учили: у всякаго невозможно одно—разумность“. „Моя рука—рука глупца. Горе всѣмъ столамъ и стѣнамъ, и всему въ чемъ есть мѣсто для украшенія, для утвари дураковъ!“ Какъ это обыкновенно бываетъ съ помѣшанными, онъ старается извинить болѣзнь своего духа: „Въ концѣ концовъ остается еще открытымъ вопросъ, можемъ ли мы обойтись безъ заболѣванія, даже во имя развитія нашей добродѣтели, и не нуждается ли наша жажда познанія и самопознанія въ больной душѣ столько же, сколько въ здоровой“.

Наконецъ, и представленіе о здоровыхъ, и удовлетвореніи не отсутствуетъ у Нитцше: его душа все „свѣтлѣе и здоровѣе“, „мы, аргонавты идеала, здоровѣе, чѣмъ это намъ, можетъ быть позволено, опасно здоровы, всегда снова здоровы и т. д.“

Такова въ общихъ чертахъ вызванная обманомъ чувствъ особая окраска, форма и содержаніе мышленія Нитцше. И вотъ, этого несчастнаго, душевно-больнаго, писанія—котораго сплошной потокъ безумія, въ понятіяхъ котораго каждая строчка говоритъ о помѣшательствѣ серьезно назвали „философомъ“; его болтовню склонны считать за „систему“! Специальность-философъ, издатель многихъ философскихъ произведеній, Кирхнеръ, говоря въ газетной статьѣ о книжкѣ Нитцше: „Вагнеріанскій вопросъ“ заявляетъ, что она „прямо брызжетъ духовнымъ здоровьемъ. Ординарные профессора, какъ Адлеръ во Фрейбургѣ и другіе, восхваляютъ Нитцше, какъ „смѣлаго, оригинальнаго мыслителя“ и подвергаютъ его философію серьезной критикѣ, то всецѣло становясь на ея сторону, то позволяя себѣ тщательно обоснованныя возраженія. Приватъ-доценты читаютъ о немъ лекціи. Въ виду такого безнадежнаго умопомраченія—нечего удивляться, что здоровая часть современной молодежи въ своемъ поспѣшномъ обобщеніи переноситъ на философію вообще то презрѣніе, котораго заслуживаютъ официальные преподаватели, которые, взявшись вестн ихъ въ кругъ высшей науки, на самомъ дѣлѣ не могутъ отличить безсвязную болтовню помѣшаннаго отъ разумнаго мышленія.

Германъ Тюркъ <sup>1)</sup> мѣтко характеризуетъ поклонниковъ Нитцше: „Эта фраза“ („ничего нѣтъ истиннаго—все дозволено“), сорвавшаяся съ устъ нравственно помѣшаннаго ученаго... нашла себѣ горячее сочувствіе, у людей которые, въ силу моральнаго недостатка, чувствовали въ себѣ противорѣчіе съ требованіями общества. Именно, интеллигентный пролетаріатъ большихъ городовъ привѣтствуетъ новое великое открытіе: что излишни всякая мораль и истина, которыя могутъ лишь вредить развитію личности. Въ душѣ они это давно уже себѣ говорили и, сообразно своимъ словамъ, поступали. Но теперь они могутъ заявить это во всеуслышаніе, ибо новый пророкъ, Фридрихъ Нитцше, считаетъ этотъ лозунгъ высшей жизненной истиной... Правда не на сторонѣ общества, высоко цѣнящаго нравственность, науку и дѣйствительное искусство. Пра-

<sup>1)</sup> Dr. Hermann Türk, a. a. O. P. 59.

вои владычествуют они, преследующие только личные, эгоистичные интересы, поступающие такъ, какъ имъ заблагоразсудится, они, эти лже-пророки истины, эти безсовѣстные фельетонисты, лживые рецензенты, литературные воры и фабриканты псевдо-реалистической драмы; это они истинные герои, господа положенія, истинно свободные умы!"

Это правда, но далеко не вся правда. Правда, что ядро восторгающей Нитцше банды состоитъ изъ врожденныхъ преступниковъ, слабоумныхъ, да еще приходящихъ въ опьяненіе отъ пышныхъ фразъ дураковъ. Но кромѣ этихъ висельниковъ безъ мужества и силы на преступленіе и слаболовыхъ, дающихъ себя гипнотизировать при помощи бѣшеннаго словонизверженія, находятся люди, о которыхъ нужно судить гораздо мягче. Безумное ученіе Нитцше заключаетъ въ себѣ нѣкоторыя представленія, которыя отчасти находятся въ соотвѣтствіи съ очень распространенными воззрѣніями, отчасти возбуждаютъ обманчивую мысль, что, не смотря на всѣ преувеличенія и извращенность, утвержденія Нитцше содержатъ нѣкоторую долю истины, и вотъ эти представленія и объясняютъ тотъ фактъ, что къ Нитцше примыкаютъ нѣкоторые люди, которыхъ можно лишь упрекнуть въ неясности мысли и отсутствіи критическаго отношенія.

Основная мысль Нитцше—мысль о полномъ игнорированіи и скотскомъ презрѣніи ко всѣмъ чужимъ правамъ, по скольку они мѣшаютъ осуществленію личныхъ желаній,—должна была встрѣтить сочувствіе у поколѣнія, выросшаго при бисмарковскомъ режимѣ. Князь Бисмаркъ—громадная личность, пронесшаяся надъ страной подобно урагану жаркаго пояса; на своемъ пути онъ разрушаетъ все встрѣчное и оставляетъ за собою подавленіе характеровъ, уничтоженіе понятія о правѣ, разрушеніе нравственности. Система Бисмарка въ государственной жизни это—иезуитизмъ въ кирасирскомъ мундирѣ. „Цѣль оправдываетъ средства“, причемъ средствами являются не хитрость и скрытое коварство, какъ у ловкихъ рыцарей ордена Лойюлы, а открытая жестокость, насиліе, сила кулака и штыка. Цѣль, оправдывающая средства иезуита въ кирасирскомъ мундирѣ, можетъ иногда имѣть общепользительный характеръ, но чаще всего она эгоистична. У своего творца эта система древняго варварства носила извѣстное величіе, такъ же вытекала изъ сильной воли, геройской отваги, которая въ каждой битвѣ выступала съ дикимъ девизомъ: „смерть или побѣда“. У подражателей она, наоборотъ, превратилась въ „рѣзкость“, т. е. въ низменную презрѣнную трусость, которая ползаетъ на четверенькахъ предъ сильными міра, творитъ насиліе надъ всѣмъ, что безоружно и слабо, что не можетъ оказать никакого сопротивленія. Всѣ сторонники этой „рѣзкости“ съ благодарностью узнаютъ себя въ „сверхъ-человѣкѣ“ Нитцше, и вся его такъ называемая философія является философіей этой „рѣзкости“—„политики натиска“ Бисмарка. Ученіе Нитцше служитъ показателемъ того, какъ отразилась система Бисмарка въ головѣ буйно-помѣшаннаго. Нитцше могъ достигнуть успѣха только въ періодъ господства Бисмарка. Помѣшаннымъ онъ, конечно, былъ бы и въ другое время, когда бы онъ ни жилъ, по его помѣ-

шательство не получило бы той окраски и того направленія, какое мы видимъ теперь. Правда, Нитцше иногда скорбитъ, что у наиболѣе типичнаго представителя новой Германіи во всемъ глубокомъ недостаетъ „рѣзкости“, и затѣмъ предостерегаетъ: „мы сдѣлаемъ хорошо, если не промѣняемъ слишкомъ дешево нашу славу, какъ народа глубины, на прусскую „рѣзкость“ и берлинскую остроу и песокъ“ „По ту сторону добра и зла“. Но въ другомъ мѣстѣ Нитцше сознается, что собственно злитъ его въ этой „рѣзкости“: это то, что она слишкомъ носитя съ офицеромъ. „Какъ только онъ (т. е. прусскій офицеръ) начинаетъ говорить или двигаться, онъ, самъ того не сознавая, представляетъ самую нескромную фигуру во всей старой Европѣ... Не сознаютъ этого и наши добрые нѣмцы, которые видятъ въ офицерѣ представителя высшего общества, и позволяютъ ему задавать тонъ („Радостная наука“)... Этого никакъ не можетъ переварить Нитцше, который полагаетъ, что нѣтъ никакого бога, а если богъ существовалъ бы, имъ долженъ былъ быть самъ Нитцше! Онъ не можетъ примириться съ тѣмъ, что „добрый нѣмецъ“ ставитъ офицера выше его. Но заключеніемъ этого въ системѣ „рѣзкости“ Нитцше правится рѣшительно все; онъ хвалитъ ее, какъ „неустрашимость взгляда, храбрость и твердость рѣжущей руки, какъ неподатливую волю къ опаснымъ путешествіямъ съ цѣлью открытій, къ воодушевленнымъ экспедиціямъ къ сѣверному полюсу по пустыннымъ и опаснымъ странамъ“ („По ту сторону добра и зла“). Затѣмъ онъ радостно пророчитъ, что для Европы начинается желѣзный вѣкъ, вѣкъ войнъ, солдатъ, оружія и насилія. Естественно поэтому, что „рѣзкіе“ привѣтствовали Нитцше, какъ своего философа.

Его „индивидуализмъ“, т. е. его эгоизмъ помѣшаннаго, для котораго не существуетъ внѣшняго міра, долженъ былъ привлечь къ себѣ, кромѣ прирожденныхъ анархистовъ также, и тѣхъ, кто инстинктивно чувствуетъ, что современное государство глубоко и могущественно вторгается въ права индивида и требуетъ отъ него, кромѣ необходимыхъ пожертвованій силой и временемъ, также и такихъ, которыхъ онъ не можетъ принести, не потерявъ уваженія къ самому себѣ; именно, оно требуетъ, чтобъ онъ жертвовалъ самостоятельностью сужденій, убѣжденій и своимъ собственнымъ человѣческимъ достоинствомъ. Эти жаждущіе свободы думаютъ найти въ Нитцше выразителя своего законнаго возмущенія противъ государства, насилующаго самостоятельность духа и разрушающаго сильныя характеры. Они впадаютъ при этомъ въ ошибку, какую я указывалъ у легковѣрныхъ сторонниковъ Ибсена и декадентовъ: они не видятъ, что Нитцше постоянно смѣшиваетъ сознательнаго и безсознательнаго человѣка, что индивидъ, за полную свободу котораго онъ ругаетъ, не познающее и рассуждающее существо, а слѣпо слѣдующее своимъ инстинктомъ, существо чувственное, а не нравственное.

Наконецъ, игра въ аристократизмъ еще болѣе усилило его обаяніе. Многіе изъ нитцшеанцевъ отвергаютъ моральное ученіе Нитцше, но приходятъ въ восторгъ отъ такихъ фразъ: „Можетъ когда нибудь случиться, что чернь сдѣлается господиномъ и въ мелкихъ водахъ утопитъ всякое время. Поэтому, о, братья мои,

необходима новая аристократія, которая будетъ противникомъ всякой черни и всякаго деспотизма, и на новыхъ скрижаляхъ начертаетъ слово: „благородно“ (Такъ говорилъ Заратустра).

Теперь широко распространено то мнѣніе, что идея всеобщаго равенства составляетъ огромную ошибку великой французской революціи. Теперь вполнѣ естественно возстаютъ противъ ученія, которое противорѣчитъ всѣмъ законамъ природы. Человѣчество нуждается въ табели о рангахъ, оно нуждается въ вождяхъ и образцахъ; оно не можетъ обойтись безъ аристократіи. Но аристократъ, которому человѣчество уступить верхи, во всякомъ ужъ случаѣ не будетъ „сверхъ-человѣкомъ“<sup>1)</sup> въ смыслѣ Нитцше. Это будетъ не эготистъ, не преступникъ, не рабъ своихъ дикихъ инстинктовъ. Нѣтъ, это будетъ человѣкъ всеобъемлющаго знанія, яснаго ума и твердаго самообладанія. Жизнь человѣчества представляетъ изъ себя борьбу, которой оно не можетъ успѣшно вести при отсутствіи полководцевъ. Пока люди борются между собой, они выше всего цѣнятъ богатую мускулатуру и силу кулака. Но на высшей стадіи, когда человѣчество, объединившись, станетъ бороться противъ бездушнѣйшей природы, оно избираетъ своимъ вождемъ человѣка съ наиболѣе развитымъ мозгомъ, съ наиболѣе сильной волей и сосредоточеннымъ вниманіемъ. Этотъ человѣкъ является лучшимъ наблюдателемъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ особенно тонко чувствуетъ, особенно ясно представляетъ себѣ положеніе вѣшняго міра,—и потому самому это будетъ человѣкъ, наиболѣе способный къ участию и состраданію. „Сверхъ-человѣкъ“ нормально развивающагося міра будетъ человѣкъ могучаго знанія и самоотверженной любви, а не кровожадный „великолѣпный хищникъ“. Этого не сознаютъ тѣ, которые готовы усмотрѣть въ нитцшевскомъ аристократизмѣ подтвержденіе своихъ собственныхъ неясныхъ представленій о необходимости для человѣка избранныхъ, благородныхъ вождей.

Ложный индивидуализмъ и аристократизмъ Нитцше можетъ ввести въ заблужденіе поверхностнаго читателя, и это служить для нихъ смягчающимъ обстоятельствомъ. Но за всѣмъ этимъ все таки остается фактъ, что завѣдомо сумасшедшій былъ признанъ въ Германіи философомъ, создалъ тамъ даже цѣлую школу,—фактъ, который тяжелымъ позоромъ ложится на духовную жизнь современной Германіи.

<sup>1)</sup> Слово „сверхъ-человѣкъ“, которое ученики Нитцше считаютъ его изобрѣтеніемъ, употреблялось за сто лѣтъ до Нитцше Гердеромъ и Гете. Слова духа въ 1-й части „Фауста“: „Вотъ я!—Какой жалкій ужасъ охватываетъ тебя, сверхъ-человѣка! Гдѣ призваніе души?“—должны были быть павѣстны всякому образованному Нѣмцу.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ.

РЕАЛИЗМЪ.

---

## Зола и его школа.

Я подробно остановился на предыдущих формах вырождения въ искусствѣ и литературѣ—мистицизмѣ и эгоизмѣ,—потому, что имъ, повидимому, предстоитъ еще дальнѣйшее развитіе, которое, быть можетъ, приведетъ ихъ къ господству надъ эстетическими воззрѣніями современниковъ. Относительно третьей формы, реализма и натурализма, я смогу быть гораздо болѣе кратко какъ по объективнымъ, такъ и субъективнымъ причинамъ. По объективнымъ—потому, что натурализмъ даже на своей родинѣ почти окончательно побѣжденъ, а мертвецовъ нужно хоронить, а не бороться съ ними. Субъективной причиной служитъ тотъ фактъ, что натурализму я удѣлилъ уже достаточно <sup>1)</sup> вниманія въ прежнихъ произведеніяхъ. Выводы, къ которымъ я пришелъ тогда, я готовъ отстаивать и теперь съ той лишь оговоркой, что я тогда слишкомъ высоко оцѣнилъ личное дарованіе Зола.

Врядъ ли кто не согласится, что во Франціи съ натурализмомъ дѣло кончено. Возражаетъ противъ этого одинъ лишь Зола. „Новое поколѣніе беллетристовъ, говоритъ Ремп де Гурмонъ <sup>2)</sup> рѣшительно стоитъ противъ натурализма. Тутъ нѣтъ никакого сговора или преднамѣренности; никто не провозгласилъ враждебнаго Зола лозунга; никто не проповѣдывалъ крестоваго похода противъ натурализма. Каждый изъ насъ въ отдѣльности съ ужасомъ отшатнулся отъ направленія, низменность котораго открылась нашимъ глазамъ. Мы, пожалуй, чувствуемъ къ нему даже болѣе равнодушія, чѣмъ презрѣнія. Напомню, между прочимъ, такого рода фактъ: при появленіи романа Зола „Человѣкъ-звѣрь“ не нашлось ни одного изъ восьми или десяти сотрудниковъ „*Messure de France*“ (органа символистовъ), который прочелъ бы этотъ романъ цѣликомъ, или такъ внимательно просмотрѣлъ его, что былъ бы въ состояніи написать рецензію. Этого рода книги, этотъ методъ творчества, кажутся намъ такими далекими, чуж-

<sup>1)</sup> Paris unter der dritten Republik. 4 издание. Лейпцигъ 1890, см. гл. „Sola und der Naturalismus“. Ausgewählte Pariser Briefe. 2 изд. Лейпцигъ 1887 „Pot. Bouillé“ von Zola.

<sup>2)</sup> Jules Huret, a. a. O. стр. 135.



дыми,—даже болѣе далекими, чѣмъ самыя сумасбродныя фантазіи романтиковъ“.

Изъ послѣдователей Зола, которые принимали участіе въ его „Меданскихъ вечерахъ“, или которые примкнули къ нему позже, врядь ли хоть одинъ остался вѣренъ ему и теперь. Гюи-де-Мопассанъ, передъ своимъ сумасшествіемъ, сталъ все больше и больше склоняться въ сторону психологическаго романа. Гюисмансъ, какъ мы знаемъ, превратился въ декадента и демониста, который не находитъ достаточно рѣзкихъ выраженій по отношенію къ натурализму. Рони пишетъ теперь романы изъ эпохи каменнаго вѣка и повѣствуетъ намъ о томъ, какъ рослый, бѣлый, съ длиннымъ черепомъ, аріецъ, увозитъ темнокожую до-арійку съ короткимъ черепомъ<sup>1)</sup>. Когда же появился романъ Зола „Земля“—пятеро его учениковъ, Поль Боннетенъ, вышеупомянутый Рони, Л. Декавъ, Поль Маргеритъ и Гюишъ, сочли даже необходимымъ выступить противъ Зола съ открытымъ письмомъ, въ которомъ они, съ нѣсколькими комическою торжественностью, протестовали противъ непристойности романа и публично отказывались отъ своего учителя. Правда, романы Зола находятъ еще и теперь очень большой сбытъ; но этотъ фактъ, на который Зола съ большою гордостью ссылается, вовсе еще не доказываетъ жизненности его направленія: масса придерживается разъ установленныхъ привычекъ гораздо дольше, чѣмъ духовные избранники и творцы. Если масса интересуется Зола по прежнему, то послѣдніе окончательно отъ него отвернулись. Успѣхъ позднѣйшихъ романовъ Зола объясняется вовсе не художественными ихъ достоинствами. Существенной, пожалуй, стороной его таланта является чуткость къ вопросамъ, волнующимъ общественное мнѣніе. Онъ выбираетъ сюжеты, которые, по его мнѣнію, привлекутъ къ себѣ вниманіе широкихъ слоевъ публики, независимо отъ разработки сюжета. Такими книгами, какъ „Деньги“, или „Разгромъ“, гдѣ въ беллетристической формѣ разсказывается о биржевомъ крахѣ 1882 года или о войнѣ 1870 года, всякій писатель съ установившейся репутаціей, несомнѣнно, возбудитъ живѣйшій интересъ французской публики. Кромѣ того, Зола съ полнымъ основаніемъ можетъ рассчитывать на признаніе безчисленныхъ любителей порнографіи. Эта публика остается ему постоянно вѣрна, такъ какъ всегда находитъ въ романахъ Зола нужное для себя. Но въ настоящее время новыхъ поклонниковъ Зола ужъ совершенно не находитъ во Франціи; за границей же—лишь среди тѣхъ, котрые рабски слѣдуютъ модѣ на книги, равно атакъ и на галстуки, среди тѣхъ, которые, по своей невѣжественности, еще не знаютъ, что и въ самой Франціи Зола давно ужъ пересталъ считаться модной новинкой.

Въ глазахъ учениковъ—Зола является создателемъ реализма въ литературѣ. Это претензія лишь такихъ недоучекъ, которые склонны считать началомъ міровой исторіи тотъ моментъ, когда они впервые о ней узнали.

<sup>1)</sup> J. H. Rosny. Vamireh. Paris, 1892.

Прежде, всего слово реализмъ само по себѣ не имѣетъ никакого значенія въ искусствѣ. Въ философіи этимъ именованъ называется ученіе, которое объясняетъ мірозданіе съ точки зрѣнія матеріи. Въ примѣненіи же къ искусству и литературѣ оно теряетъ всякое опредѣленное содержаніе. Я уже подробно доказывалъ это въ другомъ произведеніи („Paris unter der dritten Republik“), а потому здѣсь коснусь лишь основной мысли.

Эстетики пивныхъ, проводя различіе между идеализмомъ и реализмомъ, подъ послѣднимъ подразумѣваютъ стремленіе художника наблюдать явленія и вѣрно ихъ воспроизводить. Но вѣдь это стремленіе присуще всякому писателю. Намѣренно еще никто не уклонялся въ своихъ произведеніяхъ отъ истины. Этого нельзя сдѣлать даже при желаніи, такъ какъ это противорѣчитъ всѣмъ законамъ нашего мышленія. Всякое наше представленіе основывается на ранѣе сдѣланномъ наблюденіи, и даже при свободномъ творчествѣ фантазіи мы, въ сущности, оперируемъ надъ воспоминаніями о прежнихъ наблюденіяхъ. Если, не взирая на это, одно сочиненіе производитъ впечатлѣніе большей правдивости, чѣмъ другое, то это приходится отнести на счетъ большей или меньшей талантливости автора, а вовсе не его направленія. Истинный поэтъ всегда бываетъ правдивъ, бездарный подражатель — никогда; первый остается вѣрнѣе правдѣ, даже если не всегда точно слѣдуетъ мельчайшимъ деталямъ дѣйствительности; у второго будетъ сквозить фальшь даже тогда, когда онъ съ необыкновенной внимательностью будетъ подмѣчать даже микроскопическія подробности.

Если мы внимательно присмотримся къ психологическимъ законамъ, обусловливающимъ созданіе художественныхъ произведеній, намъ станетъ тотчасъ очевидной вся безодержательность такъ называемаго „реализма“. Источникомъ всякаго истинно художественнаго произведенія является эмоція. Послѣдняя возникаетъ либо по поводу какого нибудь явленія внутренней жизни самого художника, либо благодаря чувственнымъ впечатлѣніямъ внѣшняго міра. Въ обоихъ случаяхъ художникъ чувствуетъ потребность дать своей эмоціи художественное воплощеніе. Если эмоція органическаго происхожденія, то художникъ изъ всѣхъ воспоминаній и чувственныхъ впечатлѣній даннаго момента выберетъ лишь тѣ, которыя находятся съ нею въ связи. Точно также и въ томъ случаѣ, если эмоція будетъ внѣшняго происхожденія, художникъ пользуется опытомъ и явленіями внѣшняго міра, соединяя ихъ по закону ассоціаціи идей съ подобными же воспоминаніями прежняго времени. Процессъ творчества, такимъ образомъ, совершенно одинаковъ въ обоихъ случаяхъ: подъ впечатлѣніемъ эмоціи художникъ соединяетъ въ своемъ произведеніи въ стройное цѣлое непосредственно чувственные воспріятія и воспоминанія, характеръ которыхъ обусловливается происхожденіемъ господствующей эмоціи. Рѣзкаго разграниченія между идеализмомъ и реализмомъ въ искусствѣ провести, поэтому, нельзя. Не гоняясь за точностью выраженія, можно, пожалуй, назвать реалистическимъ произведеніе, созданное подъ воздѣйствіемъ эмоціи, полученныхъ извнѣ, а идеалистическимъ — произведеніе,

вызванное въ жизни эмоціями органическаго характера. У совершенно нормальныхъ людей эмоціи возникаютъ почти исключительно подъ вліяніемъ внѣшнихъ впечатлѣній; у людей же съ болѣзненно-растроенной нервной системой, у истериковъ, неврастениковъ, дегенератовъ и разнаго рода помѣшанныхъ, преобладаютъ эмоціи органическаго происхожденія. Нормальные художники творятъ преимущественно на основаніи воспріятія чувствъ; въ творчествѣ же болѣзненно-впечатлительныхъ авторовъ главную роль играетъ ассоціація идей, иными словами говоря, работа фантазіи, координирующей различныя воспоминанія. Если ужъ непременно прідерживаться произвольной ложной терминологіи, то мы можемъ назвать реалистами художниковъ первой категоріи, идеалистами лицъ второй. Художественное произведеніе, какъ реалистическое, такъ и идеалистическое, никогда не является совершенно точнымъ изображеніемъ реальной дѣйствительности. Самое происхожденіе произведеній искусства включаетъ возможность такого воспроизведенія. Вѣдь всякое произведеніе искусства—только воплощеніе субъективной эмоціи. Мы должны признать тщетной попытку изученія міра по созданіямъ искусства. Художественное произведеніе даетъ лишь матеріалъ для глубокаго знакомства съ характеромъ авторской индивидуальности. Оно, вопреки болтовнѣ сторонниковъ натурализма, никогда не бываетъ протокольнымъ документомъ, дающимъ точный, объективный отчетъ о явленіяхъ міра; нѣтъ, художественное произведеніе всегда бываетъ лишь исповѣдью его творца; оно, зависимо или независимо отъ воли автора, раскрываетъ передъ нами все, что думаетъ, чувствуетъ, переживаетъ авторъ, оно показываетъ, какія эмоціи дѣйствуютъ на его психику, какія представленія находятся въ его сознаніи на-готовѣ для воплощенія господствующей эмоціи, оно является зеркаломъ внутренней жизни художника, а не внѣшней жизни міра.

Станутъ, пожалуй, утверждать, что реализмъ возможенъ въ преимущественно подражательныхъ искусствахъ, въ живописи и скульптурѣ. Но и это утвержденіе совершенно ошибочно. Художникъ-живописецъ никогда не выберетъ сюжета, для него самого безразличнаго. Да и при обработкѣ сюжета онъ всегда будетъ пользоваться услугами свѣто-тѣни, затѣняя одни явленія, и рѣзко выдвигая другія. На выборъ сюжета безусловно вліяетъ нѣчто такое, что привлекаетъ къ себѣ взоръ и вниманіе художника, какоенибудь сочетаніе цвѣтовъ и линій, какойнибудь свѣтовой эффектъ и т. д. Не произвольно онъ станетъ подчеркивать черты, которыя наиболѣе его поразили, и картина, благодаря этому, будетъ воспроизводить дѣйствительность не такой, какова она сама по себѣ, а такой, какъ она представлялась художнику; съ точностью камеры-обскуры и свѣто-чувствительной пластинки, можетъ работать лишь бездарный ремесленникъ, въ которомъ картина міра ровно ничего не пробуждаетъ, никакихъ склонностей, антипатій и желаній. И съ трудомъ можно повѣрить, чтобы такой человекъ чувствовалъ особую потребность стать художникомъ и чтобы ему удалось хорошо усвоить даже техническіе приемы, необходимые для истиннаго художника.

Если реализмъ недостижимъ въ живописи—области, гдѣ, казалось бы, примѣнить его легче всего, то что же сказать о поэзи и беллетристикѣ? Живописецъ, если въ немъ очень ужъ сильно желаніе унижить свое искусство, можетъ все-таки свести къ минимуму воздѣйствіе собственной индивидуальности на свое произведеніе, можетъ все-таки нѣсколько приблизиться къ идеалу камеры-обскуры по возможности, машинально переносить на полотно свои зрительныя впечатлѣнія. Картина все же дана ему самой природой: она—его оптической кругъ зрѣнія. Итакъ, если онъ не хочетъ выбирать или внести что нибудь свое, онъ можетъ прямо писать съ натуры тѣ предметы, которые охватываютъ его поле зрѣнія. Эта картина, если позволительно назвать этимъ именемъ подобную работу, будетъ ничего не выражающимъ изображеніемъ частицы міра, изображеніемъ, въ которомъ личность художника сказалась лишь въ опредѣленіи рамокъ ея. Нельзя сказать, чтобы данное явленіе цѣлкомъ умѣстилось въ указанныхъ рамкахъ. Нѣтъ, по-просту здѣсь кончалось поле зрѣнія художника. Но все же въ техническомъ смыслѣ это будетъ картина, т. е. разрисованное полотно, которое можно повѣсить на стѣну и разсматривать его. Но писатель подобнымъ образомъ работать ни въ коемъ случаѣ не можетъ. Его матеріалъ находится во времени, а не въ пространствѣ. Онъ не лежитъ въ такомъ порядкѣ, чтобы автору могло годиться все имъ видѣнное, безъ необходимости выбора, измѣненія и перестановки. Факты большей частью слѣдуютъ совершенно беспорядочно, и самъ беллетристъ долженъ ввести ихъ въ опредѣленные границы, онъ самъ долженъ рѣшить, что брать и что оставить безъ вниманія, онъ самъ долженъ разобраться, насколько извѣстное явленіе годится для его сюжета. Онъ не можетъ начать человѣческую рѣчь съ середины и оборвать ее до конца, на подобіе того, какъ Жанъ Боро въ своей картинѣ разрѣзаетъ пополамъ раму колеса экипажа. Онъ не можетъ представить намъ ничего не выражающаго изображенія беспорядочнаго потока жизненныхъ и мировыхъ явленій. Онъ долженъ направить ихъ теченіе по опредѣленному руслу и тѣмъ самымъ рельефно проявить свою индивидуальность. Если изъ милліона событій онъ выбираетъ одно, дѣлая его предметомъ своего повѣствованія, то дѣлаетъ, безъ сомнѣнія, потому, что лично его это явленіе интересовало больше всѣхъ остальныхъ. Если въ избранномъ имъ героѣ онъ особенно подчеркиваетъ лишь нѣкоторыя черты, мысли, поступки и разговоры,—быть можетъ, лишь милліонную часть человѣка вообще, то дѣлаетъ это потому, что лично ему данныя черты казались наиболѣе важными и характерными, что въ этихъ чертахъ выражаются мысли, которыя авторъ прочелъ или хотѣлъ прочесть, даже если ихъ въ самой дѣйствительности не было. Своимъ „романическимъ“ произведеніемъ художникъ слова рисуетъ намъ не самую дѣйствительность, а даетъ лишь ея истолкованіе съ точки зрѣнія личныхъ воззрѣній и симпатій. Если бы беллетристъ захотѣлъ воспроизвести дѣйствительность фотографически, его работа не дала бы литературнаго произведенія, даже въ томъ техническомъ смыслѣ, въ какомъ мы говорили о работѣ фотографа-живописца. Въ ре-

зультатъ его работы получилось бы нѣчто лишенное формы, смысла, имени и содержанія; вѣдь можно наполнить сотни страницъ, рассказывая о жизни отдѣльнаго человѣка въ теченіе одного дня, если съ одинаковой точностью описывать всѣ его ощущенія, мысли, слова и дѣйствія и не дѣлать между ними того выбора, который свидѣтельствуетъ уже о субъективности автора и составляетъ, слѣдовательно, противоположность „реализма“.

Живописецъ при воспроизведеніи жизненныхъ явленій пользуется элементами, изъ которыхъ состоитъ это явленіе,—свѣтомъ и красками. Правда, эти краски, свѣтъ и линіи представляютъ лишь иллюзіи дѣйствительности, но подобныя иллюзіи доступны низшимъ мозговымъ центрамъ, такъ что ихъ способны воспринимать даже животныя. Объ этомъ свидѣтельствуетъ, между прочимъ, классическій анекдотъ о птицахъ, прилетѣвшихъ клевать виноградъ Зевкиса. Писатель же обращается къ высшимъ центрамъ, а не къ непосредственно воспринимающимъ, какъ это преимущественно дѣлаетъ живописецъ.

Писатель не имѣетъ возможности воспроизвести явленіе непосредственно: онъ можетъ представить намъ его въ видѣ понятія, выраженнаго въ словесной, т. е. условной формѣ. Но это—сложная, въ высшей степени дифференцированная работа, которая носитъ на себѣ отпечатокъ личности ея творца. Если уже два глаза воспринимаютъ различно извѣстное явленіе, то можно себѣ представить, какъ различны воспріятіе, толкованіе подобнаго явленія съ точки зрѣнія высшихъ сторонъ человѣческой психики. Дѣятельность писателя, такимъ образомъ, еще въ болѣе значительной степени носитъ рѣзко-субъективный характеръ; переработка непосредственныхъ впечатлѣній въ сложныя понятія и выраженіе послѣднихъ въ формѣ рѣчи—требуетъ такого участія личности писателя, что литературное произведеніе никогда не можетъ быть „реалистическимъ“ въ смыслѣ воспроизведенія одной лишь голы дѣйствительности.

Самое понятіе такъ называемаго „реализма“ противорѣчитъ психолого-эстетической критикѣ. Правда, возможно употреблять его въ чисто внѣшнемъ, эмпирическомъ смыслѣ, говоря, что „реализмъ“ есть такой методъ творчества, при которомъ писатель, основываясь на собственныхъ наблюденіяхъ, рисуетъ лишь тѣ явленія, которыя ему лично извѣстны. Въ противоположность реализму, идеализмомъ можно назвать методъ творчества, при которомъ художникъ творитъ на основаніи своей фантазіи, черпая свой матеріалъ изъ такихъ эпохъ и словъ общества, о которыхъ онъ себѣ составилъ понятіе не путемъ непосредственнаго изученія, а посредствомъ догадокъ и предположеній. Такое толкованіе словъ: идеализмъ и реализмъ—на первый взглядъ кажется и понятнымъ и убѣдительнымъ, но стоитъ присмотрѣться къ нему поближе, и оно окажется совершенно несостоятельнымъ. Въ самомъ дѣлѣ, самый матеріалъ, тотъ цѣкъ жизненныхъ явленій, откуда онъ черпается, не имѣетъ рѣшающаго значенія. Выборъ его обусловливается не какимъ то методомъ творчества, а опять-таки личностью самого творца. Писатель у котораго преобладаетъ наблюденіе, будетъ „реалистомъ“, т. е. будетъ выражать свой опытъ,

говоря даже о такихъ вещахъ и людяхъ, которые лежатъ совершенно внѣ круга его наблюденій. Писатель же, у котораго господствуетъ механическая ассоціація идей, будетъ „идеалистомъ“, т. е. будетъ находиться всецѣло во власти своей фантазіи даже и тогда, когда повѣствуетъ о предметахъ, въ которыхъ онъ хорошо освѣдомленъ.

Я приведу только по одному примѣру для каждаго изъ обоихъ случаевъ. Что можетъ быть „идеалистичнѣе“ сказки? Возьмемъ отрывки изъ наиболѣе извѣстныхъ сказокъ Гримма: „Жила была королевская дочка; вотъ пошла она въ лѣсъ и сѣла у холоднаго колодца“ („Король—лягушка, или желѣзный Генрихъ“) Или: „Сестрица (дочь короля, который прогналъ своихъ двѣнадцать сыновей) уже сдѣлалась большой. Вотъ однажды она увидѣла въ домѣ много бѣлья, среди котораго находилось двѣнадцать мужскихъ рубашекъ. „Для кого эти рубашки?“—спросила принцесса:—вѣдь для моего отца онѣ слишкомъ малы“. Тогда прачка рассказала ей, что у нея было двѣнадцать братьевъ и т. д. Послѣ обѣда она сѣла на лугу и, посмотрѣвъ на бѣлье, снова вспомнила слова старухи“. (Двѣнадцать братьевъ)... „Дровосѣкъ повиновался, и принесть своего ребенка Св. Дѣвъ Маріи, которая взяла его съ собою на небо. Тамъ жилось ребенку прекрасно, онъ ѣлъ только сахарное печеніе и пилъ сладкое молоко и т. д. Такъ дитя провело на небѣ четырнадцать лѣтъ: въ то время Дѣва Марія должна была отправиться въ длинное путешествіе; но прежде, чѣмъ уйти она позвала дѣвушку и сказала ей: „Дорогое дитя,—я отдаю тебѣ ключи отъ тринадцати воротъ царства небеснаго“ и т. д. Незвѣстный авторъ этихъ сказокъ переноситъ насъ въ королевскій дворецъ или даже на небо, т. е. въ области, совершенно ему неизвѣстныя; но онъ надѣяется людей, обстановку и самую Св. Дѣву чертами, которыя онъ когда нибудь наблюдалъ. Изъ дворца вы выходите въ лѣсъ и на лугъ, какъ будто изъ крестьянскаго двора. Принцесса сама бѣжитъ къ лѣсному колодцу и смотритъ за стиркой бѣлья, какъ простая горничная. Дѣва Марія, точно богатая дама, предпринимаетъ путешествіе, оставляя ключи по хозяйству своей пріемной дочери. Сказки какъ бы продиктованы картинами деревенской жизни, наблюденіями крестьянина, который съ наивнымъ реализмомъ рисуетъ свой собственный мірокъ, давая лишь новое названіе старой, хорошо знакомой обстановкѣ. Но вотъ, посмотримъ, какъ великій, передовой „реалистъ“ Гонкуръ рассказываетъ въ своемъ романѣ „La Faustin“ исторію любви лорда Аннандала и артистки Théâtre français“. Этотъ рассказъ вызываетъ со стороны Брюнетьера слѣдующее <sup>1)</sup> замѣчаніе: „Я могу характеризовать романъ Гонкура словами Зола, какъ извѣстно, рѣзко осмѣиваетъ фантастическіе романы, гдѣ фигурируютъ „принцы съ полными бриллиантовъ карманами“. Спрашивается: что этотъ самый Зола можетъ сказать, положи руку на сердце, объ этомъ лордѣ Аннандалѣ, бросающемъ изъ окна пригоршнями золото, распоряжаю-

<sup>1)</sup> Ferdinand Brunetière. Le roman naturaliste. Nouvelle édition. Paris 1892 г. Стр. 285.

щемся чуть ли не пятьюдесятью слугами, не считая прислуги, находящейся въ распоряженіи madame? Спрашивается: что можетъ сказать этотъ самый Зола, который такъ мило издѣвался надъ такъ называемымъ имъ идеалистическимъ романомъ, о романѣ, гдѣ „торжествующая любовь вводитъ влюбленныхъ въ дивный міръ грезъ“, что долженъ думать Зола о той страстной нѣжности, которую Гонкуръ приписываетъ англійскому лорду въ его отношеніяхъ къ актрисѣ, что скажетъ Зола объ этомъ обоготвореніи, о чувственной связи въ синевѣ неба, о физической любви въ идеальномъ порывѣ и обо всей прочей галиматѣ, которою сплошь наполненъ романъ?“ Гонкуръ говоритъ, что поставилъ себѣ задачей нарисовать образъ современнаго англичанина и такой же артистки и затѣмъ представить картину парижской жизни, которую онъ могъ наблюдать, которая должна быть ему хорошо извѣстна; но все рассказанное Гонкуромъ до того поражаетъ своей невѣроятностью и неправдоподобіемъ, что остается только развести руками. Въ результатъ само собою напрашивается любопытное сопоставленіе. Авторъ германской сказки, не смотря на то, что вводитъ насъ въ общество королей, ангеловъ и святыхъ, изображаетъ намъ сильныхъ, нормальныхъ крестьянъ и крестьянокъ, жизненность которыхъ нисколько не ослабляется тѣмъ, что они увѣнчаны маскарадными коронами. А французскій реалистъ, который желаетъ показать намъ людей и нравы Парижа, изображаетъ передъ нашими глазами какія то безплотныя видѣнія, которая нисколько не выигрываютъ въ жизненности и правдоподобіи тѣмъ, что англичанинъ одѣтъ въ прекрасный дорожный костюмъ, а истеричная дама является въ не менѣе прекрасномъ negligee. Авторъ сказки является такимъ образомъ реалистомъ въ смыслѣ приведеннаго объясненія, а бытописатель Гонкуръ—идеалистомъ, съ отягчающими вину обстоятельствами.

Съ какой стороны мы не подойдемъ къ пресловутому реализму, мы не сумѣемъ составить о немъ опредѣленнаго понятія. Всѣ методы изслѣдованія ведутъ насъ къ одному и тому же выводу: въ литературѣ нѣтъ реализма, понимаемаго въ смыслѣ безпристрастнаго, чисто фактическаго изображенія дѣйствительности; въ ней самое рѣшительное значеніе играетъ индивидуальность автора. Одинъ писатель воспринимаетъ эмоціи извнѣ, у другого—творчество обусловливается эмоціями органическаго характера; одинъ способенъ къ наблюденію, другой—рабъ своей необузданной фантазіи, у одного преобладаетъ представленіе о „не—я“, у другого—представленіе о „я“. Короче говоря: одинъ—нормаленъ, у другого наблюдаются болѣзненные симптомы вырожденія. Нормальный писатель обнаруживаетъ глубокое знаніе жизни въ любомъ произведеніи, будь то дантовскій „Адъ“ или гетевскій „Фаустъ“ и, если хотите, вотъ это то знаніе, достигаемое внимательностью и наблюденіемъ, и называется реализмомъ. Писатель—дегенератъ, наоборотъ, пускаетъ мыльные пузыри даже и тогда, когда, на основаніи глубокаго убѣжденія, утверждаетъ, что опирается на точныя наблюденія, и эту то пестроокрашенную, но въ концѣ концовъ грязную пѣну своего смутнаго прилива мыслей онъ называетъ идеализмомъ.

Реализмъ понимается еще въ другомъ смыслѣ: онъ долженъ знакомить насъ съ жизнью низшихъ общественныхъ слоевъ, съ будничными людскими заботами. Съ этой точки зрѣнія, реалистическимъ произведеніемъ будетъ такое, въ которомъ изображаются рабочіе, крестьяне, мѣщане и т. д.,—а идеалистическимъ—произведение, повѣствующее о жизни и дѣяніяхъ боговъ, героев и королей. Существуетъ анекдотъ о Людовикѣ XIV, который, увидя тенъеровское изображение сельскаго кабачка, съ презрѣніемъ воскликнулъ: „Уберите это прочь!“ Людовикъ осуждалъ въ данномъ случаѣ не методъ творчества, а произведение, которое своимъ низкимъ замысломъ оскорбляло его олимпійскій взоръ. Такое объясненіе реализма во всякомъ случаѣ понятнѣе другихъ. Но, я думаю, совершенно излишне доказывать, насколько оно грубо, насколько оно не выдерживаетъ критики съ философской и эстетической точекъ зрѣнія. Вѣдь мы уже видѣли, что боговъ и королей можно надѣлять самыми обыденными крестьянскими мыслями и чувствами, и, наоборотъ, есть произведенія, гдѣ герои изъ низшихъ общественныхъ слоевъ являются выразителями лучшихъ человѣческихъ качествъ. Въ бульварныхъ романахъ Грегора Самарова мы видимъ все императоровъ и королей, но ихъ мысли, чувства, разговоры,—чисто лавочническіе. Въ деревенскихъ рассказахъ Ауэрбаха мы видимъ крестьянъ, воззрѣнія и жизнь которыхъ носятъ самый возвышенный характеръ. И самаровскіе и ауэрбаховскіе герои равно далеки отъ истины, но они обличаютъ въ одномъ изъ авторовъ—кропателя сенсационныхъ романовъ, въ другомъ—благороднаго, глубоко чувствующаго поэта. Въ романѣ Дж. Эллиотъ „Мельница на Флосѣ“ мы видимъ работника съ мельницы, Луку и дочь мельника, которые, по величію характера и нравственности, сдѣлали бы честь любому Пантеону. Въ теккерейскомъ „Базарѣ житейской суеты“ предъ нами выступаетъ чрезвычайно важный и гордый маркизь Стейнъ <sup>1)</sup> и графъ Барекра,—особы, которымъ, не смотря на ихъ титулы, порядочный человѣкъ не подаетъ руки; и тѣ, и другіе глубоко правдивые типы, но въ первомъ случаѣ мы имѣемъ дѣло съ авторомъ, полнымъ любви и состраданія, во второмъ—предъ нами художникъ, полный злобы и гнѣва. Кто привлекательнѣе, кто лучше? Самаровскіе императоры и короли, или шварцвальдскіе поселяне Ауэрбаха; шотландскій работникъ—крестьянинъ романа Дж. Эллиотъ или великолѣпный англійскій пэръ Теккерей? Какое изъ этихъ произведеній назвать идеалистическимъ, какое реалистическимъ, если принять то дѣленіе, что реализмъ интересуется низшими слоями общества, а идеализмъ—взглядами, поступками, обстановкой высшаго общества?

Подыскать точный смыслъ для словъ „реализмъ“ и „идеализмъ“ оказывается, такимъ образомъ, невозможнымъ для серьезнаго изслѣдованія, не довольствующагося одними словами.

<sup>1)</sup> „Онъ былъ самымъ крупнымъ лицомъ изъ присутствующихъ, не смотря на то, что здѣсь же находилось королевское высочество и владѣтельный герцогъ, оба со своими супругами“. *Vanity fair*, Tauchnitz edition, Z. Band, P. 257.



Посмотримъ же, что понимаютъ подъ этимъ словомъ поклонники Зола, что они считаютъ особенностями послѣдняго, въ чемъ видятъ свою оригинальность самъ Зола, на чемъ основываетъ онъ свою претензію быть творцомъ новой жизни въ исторіи литературы.

Ученики Зола восхваляютъ его описательный талантъ и его „импрессионизмъ“. Мнѣ кажется, ихъ приходится рѣзко различать другъ отъ друга. Описание стремится охватить характерныя черты явленія всесторонне; импрессионизмъ же начинается душевное состояніе человѣка, который воспринимаетъ явленіе только въ одномъ извѣстномъ направленіи. Описание задается цѣлью описать извѣстное явленіе въ связи, сущности и послѣдовательности; импрессионизмъ даетъ только извѣстные элементы познанія, а не познаніе въ его цѣломъ. Описательный талантъ видитъ въ деревѣ дерево, со всѣми представленіями, которыя заключаются въ этомъ понятіи; импрессионистъ же видитъ въ немъ лишь извѣстное сочетаніе красокъ, свѣтовые эффекты. И самодовлѣющее описание и импрессионизмъ мы одикаково должны признать эстетическимъ и психологическимъ заблужденіемъ въ литературѣ; но даже и этого заблужденія не выдумалъ Зола. Еще задолго до него романтики и особенно Теофиль Готье ввели такое описание, а въ отношеніи импрессионизма предупредили Зола братья Гонкуры.

Чисто фактическое описание явленій составляетъ задачу науки, если для кого либо важно получать отъ нея только міровоззрѣніе, которое можно выразить въ словѣ безъ помощи образовъ и чиселъ. Но наука является пустой дѣтской игрой и времяпрепровожденіемъ, если никому не интересно останавливаться на описываемыхъ предметахъ въ силу ихъ извѣстности или незначительности. Наука превращается въ критику, но остается поучительнымъ видомъ искусства, если она такъ хорошо выбираетъ слова, что слѣдуетъ за тончайшими особенностями предметовъ и вмѣстѣ съ тѣмъ сообщаетъ ихъ оттѣнки, слѣдовательно, если употребляемые слова не только являются точнымъ обозначеніемъ чувственно воспринимаемыхъ словъ, но эмоціонально окрашены и выступаютъ вмѣстѣ съ образами и сравненіями. Примѣрами такого рода искусства описывать являются всѣ хорошія описанія путешествій напр., „Voyage aux régions équinoxiales du nouveau continent“ Гумбольдта, „Сахара и Суданъ“ Нахтигала, „Въ сердцѣ Африки“ Швейнфурта, или книги Амигна о Константинополѣ, Марокко и т. д. Но такого рода искусство не имѣетъ ничего общаго съ поэзіей. Искусство поэзии своимъ объектомъ всегда имѣетъ человѣка, его мысли и чувства; въ этомъ сходится и животная, и аллегорическая, и фантастическая и вообще всѣ виды литературы; въ явной формѣ или въ видѣ символа онѣ трактуютъ о человѣкѣ. Фактическая сторона, арена дѣйствій и обстановка имѣютъ для литературы значеніе по столько, поскольку они относятся къ человѣку. Авторъ можетъ предстать передъ нами либо въ видѣ зрителя, который наблюдаетъ совершающуюся у него на глазахъ жизнь людей, либо какъ непосредственный участникъ этой жизни. Въ обоихъ слу-

чаяхъ фактической стороны онъ касается соотвѣтственно ея значенію и интересу для жизни. Въ качествѣ зрителя онъ не станетъ равнодушно смотрѣть на то, что привлекло его вниманіе, а, наоборотъ: постарается вызвать и въ читателѣ живое сочувствіе. Если же онъ выступаетъ непосредственнымъ участникомъ, то онъ еще болѣе чутко отнесется къ событіямъ человѣческой жизни, будетъ еще меньше въ состояніи сохранить къ этимъ событіямъ индифферентное отношеніе. Въ настоящемъ художественномъ произведеніи фактической матеріалъ берется, слѣдовательно, лишь постольку, поскольку это непосредственно касается даннаго событія. Все остальное будетъ психологически невѣрнымъ, будетъ разрушать настроеніе, будетъ отвлекать вниманіе отъ основной нити. Художественное творчество превратится тогда въ простую ремесленную работу, которая будетъ свидѣтельствовать объ отсутствіи у писателя поэтического пыла, дѣйствительно поэтическихъ образовъ.

Импрессионизмъ является въ литературѣ еще болѣе предосудительнымъ, чѣмъ безразличное описаніе. Импрессионизмъ находитъ свое оправданіе въ живописи. Послѣдняя воспроизводитъ зрительныя впечатлѣнія, и живописецъ остается въ предѣлахъ своего искусства, если передаетъ свои чисто оптическія воспріятія, не стараясь одухотворить полотно, не привнося въ свою работу центровъ воспріятія, дѣятельность высшихъ мыслительныхъ центровъ. Такое произведеніе будетъ стоять довольно низко въ эстетическомъ отношеніи, но все же оно будетъ продуктомъ искусства, который можно защищать. Напротивъ, литературный импрессионизмъ это прямое отрицаніе и уничтоженіе литературы. Орудіями выраженія для литературы является рѣчь, которая является слѣдствиемъ дѣятельности не однихъ центровъ воспріятія, но и другихъ гораздо высшихъ центровъ сужденія и пониманія; при отсутствіи дѣятельности послѣднихъ воспріятіе можетъ передаваться при помощи однихъ только междометій въ родѣ а! о! Но подобно тому какъ эмоціональный животный крикъ развился въ членораздѣльную рѣчь, точно также и исключительно чувственное воспріятіе дифференцировалось въ сложныя понятія, и потому представляется психологически совершенно невѣрнымъ, когда пытаются изобразить внѣшнія явленія въ видѣ однихъ звуковъ и красокъ. Импрессионизмъ въ литературѣ является примѣромъ атавизма, на который мы указывали, какъ на отличительную черту душевной жизни дегенератовъ. Онъ ведетъ человѣческое мышленіе назадъ, къ животному первоисточнику, а художественную дѣятельность низводитъ съ ея высокаго развитого положенія къ тому зачаточному состоянію, гдѣ въ послѣдствіи самостоятельныя области искусства представляли одно сплошное недифференцированное цѣлое. Опѣните, напримѣръ, слѣдующее импрессионистное описаніе Гонкуровъ: <sup>1)</sup> „Надъ нами распростерлось большое облако; кругомъ густой туманъ фіалковаго цвѣта, туманъ съ сѣвера... Облако поднялось, обрываясь рѣзкими

<sup>1)</sup> Edmond et Jules Goncourt, *Manette Salomon*. Paris 1877. р. 3. 145, 191.

контурами въ полутѣни, въ которой смѣшивались блѣдно-зеленые и розовые цвѣта, а тамъ опять матовое, свинцовое небо, обрамленное сѣрыми тучами...“ и т. д.

„Пріятные тоны старческой страсти переливались на желтоватой и коричневой розѣ его лица“... „Воздухъ, освѣженный водою, имѣетъ какъ бы покровъ, голубого фіолетоваго цвѣта, съ помощью котораго живопись подражаетъ прозрачности грубаго стекла... Первая живая улыбка зелени играла на почернѣлыхъ вѣтвяхъ деревьевъ“.

Таковы образчики описаніи импрессионистовъ. Поэтъ поступаетъ такъ, какъ еслибы онъ былъ живописцемъ <sup>1)</sup>; онъ передаетъ явленіе, не какъ понятіе, а какъ простое чувственное возбужденіе, онъ выписываетъ различныя названія красокъ, накладываетъ мазки и полагаетъ, что произвелъ на читателя особенно сильное впечатлѣніе своимъ изображеніемъ дѣйствительности. Но это дѣтскій самообманъ; читатель вѣдь видитъ одни лишь слова, а не краски: всѣ названія красокъ только тогда что нибудь значать, когда читатель создаетъ себѣ представленіе, и поэтому впечатлѣніе было бы гораздо полнѣе и сильнѣе, если бы ему объ извѣстномъ явленіи дали готовое понятіе, а не воспроизводили предъ нимъ одни лишь оптическіе элементы явленія. Зола достаточно вѣрно усвоилъ эту нелѣпую теорію Гонкуровъ, но вовсе не открылъ ея самъ.

Второй особенностью Зола называютъ его воспроизведеніе „среды“, окружающей его дѣйствующихъ лицъ. Послѣ ничего не выражающаго импрессионизма, теорія „среды“ представляется довольно курьезной; вѣдь эта теорія является прямой противоположностью той психологической теоріи, въ силу которой возникаетъ импрессионизмъ и зудъ къ описаніямъ. Импрессионистъ при воспроизведеніи явленія играетъ роль простаго фотографа или фонографа: онъ отмѣчаетъ только отдѣльныя стороны, отказываясь отъ обобщающаго пониманія, отъ переработки воспріятій въ понятія, которыя находились бы въ зависимой связи. Сторонники теоріи „среды“ переносятъ центръ тяжести на причинную зависимую связь явленій, а не на явленіе само по себѣ; это ученіе проповѣдуетъ не простое чувственное воспріятіе, а цѣлую философію, стремящуюся привести явленія въ систему, группируя ихъ по извѣстному методу. Обыкновенно подъ теоріей среды разумѣваютъ вѣдь слѣдующее. Писатель выставляетъ положеніе, что всѣ поступки и особенности людей являются результатомъ вліянія окружающей ихъ живой и мертвой природы, и что онъ, писатель, задается цѣлью показать сущность и направленіе этихъ вліяній на людей. Сама по себѣ теорія, пожалуй, вѣрна, но опять таки не Зола она избобрѣтена, а стара, какъ сама философія. Въ наше время ее подробно развилъ и обосновалъ Тэнъ, а Бальзакъ и Флоберъ, еще задолго до Зола, примѣняли эту теорію въ своихъ ро-

<sup>1)</sup> Это отчасти извинительно Эд. Гонкуру, который дѣйствительно былъ живописцемъ передъ тѣмъ, какъ избралъ литературное призваніе. Впрочемъ возможно, что онъ, умышленно или бессознательно, разъ усвоенные приемы техники сталъ примѣнять и позже.

манахъ. Однако, эта теорія, въ высшей степени плодотворная въ антропологии и социологии, гдѣ можетъ натолкнуть на весьма цѣнные изслѣдованія, въ области литературы является не болѣе, какъ заблужденіемъ и смѣшеніемъ родовъ, являющихся результатомъ неясности мышленія. Задачей человѣка науки является прослѣдить причины явленій; иногда онъ находитъ ихъ, чаще нѣтъ; часто онъ полагаетъ, что открытъ эти причины, но болѣе точное изслѣдованіе доказываетъ, что онъ ошибался, что его теорія подлѣжитъ исправленію. Изслѣдованіе условій, при которыхъ человѣкъ пріобрѣтаетъ различныя свои духовныя и физическія качества, ведется очень усердно, но все же нужно признать, что оно началось очень недавно и что оно обладаетъ еще очень незначительнымъ запасомъ точныхъ фактовъ, положительныхъ пріобрѣтеній. Мы, напримѣръ, не знаемъ еще, почему однѣ человѣческія расы отличаются высокимъ ростомъ, а другія, наоборотъ, низкорослы; почему однѣ изъ нихъ отличаются бѣлымъ цвѣтомъ кожи, а другія—чернымъ? Такъ обстоитъ дѣло въ отношеніи наиболѣе простыхъ внѣшнихъ особенностей, болѣе доступныхъ изслѣдованію, чѣмъ высшія духовныя качества; о послѣднихъ мы не знаемъ ничего опредѣленнаго. Мы можемъ строить на этотъ счетъ одни лишь предположенія, но даже самыя ясныя изъ нихъ будутъ носить характеръ большаго или меньшаго правдоподобія, а отнюдь не доказательности. И вотъ является писатель: дополнивъ недоказанныя еще научныя гипотезы измысленіями собственной фантазій, онъ говоритъ намъ: „Видите, этотъ человѣкъ, котораго я показываю вамъ въ своихъ произведеніяхъ, сдѣлался тѣмъ, что онъ теперь есть, благодаря тому, что его родители обладали такими то и такими качествами, что въ дѣтствѣ онъ воспринялъ такія то впечатлѣнія, получилъ такое то воспитаніе“ и т. д. Очевидно, что въ данномъ случаѣ писатель выходитъ за предѣлы своей спеціальности. Въмѣсто того, чтобы рисовать намъ образы, онъ пытается преподавать намъ науку, и притомъ науку ложную, такъ какъ дѣйствительнаго знанія тѣхъ воздѣйствій, подъ которыми сложился человѣкъ, они большей частью не имѣютъ; то, что онъ беретъ изъ среды, какъ нѣчто опредѣлившее особенности индивидуума, это либо большей частью несущественное, либо незначительная доля того, что дѣйствительно обусловило образованіе данной личности. Возьмемъ какой нибудь частный примѣръ, хотя бы вопросъ о происхожденіи преступности. За послѣдніе двадцать лѣтъ этому вопросу посвящены были тысячи книгъ и брошюръ; сотни первоклассныхъ врачей, юристовъ, политико-экономовъ и философовъ посвятили себя изслѣдованію этого вопроса,—и все же мы еще далеки отъ того, чтобы могли съ увѣренностью сказать, насколько повліяли на образованіе преступнаго типа наслѣдственность, социальныя условія, т. е. „среда“ въ тѣсномъ смыслѣ слова. И вдругъ является совсѣмъ несвѣдущій единичный беллетристъ и съ торжественно непогрѣшимостью, (на которую дерзаетъ претендовать авторъ художественнаго произведенія) рѣшаетъ вопросъ, который работа цѣлаго поколѣнія могла лишь очень незначительно подвинуть впередъ! Эта безумная отвага объясняется тѣмъ, что беллетристъ не имѣлъ ни ма-

лѣйшаго представленія о трудностяхъ задачи, которую онъ взялся съ такимъ легкимъ сердцемъ разрѣшить.

Будетъ простымъ обманомъ зрѣнія, если покажется, что Бальзакъ и Флоберъ, именно благодаря теоріи „среды“, произвели на свѣтъ такія выдающіяся творенія. Они, дѣйствительно, посвятили много вниманія (особенно Флоберъ въ „Мадамъ Бовари“) и подробныя описанія обстановки, окружавшей ихъ дѣйствующихъ лицъ, и поэтому у поверхностнаго читателя получается впечатлѣніе, будто между обстановкой—съ одной стороны, мыслями и поступками дѣйствующаго лица—съ другой—находится причинная связь.

Такова ужъ одна изъ самыхъ упорныхъ первоначальныхъ склонностей человѣческаго мышленія: всѣ одновременно или сопутственно наступающія событія считать причинно между собой связанными. Эта склонность служитъ богатѣйшимъ источникомъ ошибочныхъ выводовъ; она можетъ быть устранена лишь при помощи внимательнаго наблюденія, часто лишь путемъ непосредственнаго опыта. Въ романахъ Флобера и Бальзака, у которыхъ „среда“, повидимому, имѣетъ такое важное значеніе, „среда“ ровно ничего не объясняетъ. Лица, дѣйствующія въ одной и той же „средѣ“, представлены и въ этихъ романахъ совершенно различными. Кромѣ того, мы видимъ, каждое изъ этихъ лицъ оказываетъ и свое собственное вліяніе на „среду“. Послѣднее качество нужно слѣдовательно, признать чѣмъ то уже ранѣе существовавшимъ и вовсе не являющимся результатомъ среды. „Среда“ имѣетъ силу ближайшей, непосредственной причины какого нибудь дѣйствія, но болѣе сложныя, отдаленныя причины коренятся въ самой личности, о которой „среда“, изображаемая поэтомъ, не даетъ дѣйствительнаго понятія.

Не станемъ останавливаться на увѣреніяхъ Зола и его ученикахъ, будто его произведенія „куски изъ жизни“ („tranches de vie“). Мы уже раньше указывали, что дѣйствительной жизни,—жизни въ ея цѣломъ—Зола не можетъ изобразить, въ своихъ романахъ. Какъ и всѣ писатели, Зола прибѣгаетъ къ извѣстному выбору. Изъ миллионовъ мыслей своихъ героевъ, изъ десятковъ тысячъ ихъ поступковъ онъ воспроизводитъ лишь отдѣльные изъ цѣлага періода ихъ жизни моменты; его пресловутые „куски изъ жизни“—не болѣе какъ сжатые, не болѣе какъ отдѣльные, искусно расположенные по опредѣленному плану, обзоры жизни. Какъ и всѣ другіе писатели, онъ совершаетъ свой выборъ по личнымъ склонностямъ; разница лишь въ характерѣ склонностей, обуславливающихъ выборъ.

Зола называетъ свои произведенія „человѣческими документами“ и „экспериментальнымъ романомъ“. По поводу этихъ претензій Зола, я уже высказался въ другомъ произведеніи лѣтъ 15 тому назадъ, и къ сказанному тогда я ничего собственно не имѣю прибавить. Думаетъ ли Зола, что его романы—серьезные документы, изъ которыхъ наука можетъ почерпать данныя? Но это ребячество! Наука никогда не можетъ въ этомъ отношеніи воспользоваться искусствомъ. Она не нуждается въ придуманныхъ людяхъ и дѣйствіяхъ: она выбираетъ своимъ объектомъ живыхъ людей и ихъ дѣйствительныя поступки. Романъ занимается судъ-

бой одного человѣка, въ лучшемъ случаѣ, судьбой цѣлой семьи; наукѣ нужны свѣдѣнія о судьбѣ милліоновъ людей. Свѣдѣнія полиціи, торговые и промышленные отчеты, вѣдомства распределе- нія налоговъ, статистика преступленій и самоубійствъ, цѣны на предметы жизненнаго обихода, уровень заработной платы, сред- няя продолжительность жизни человѣка, количество заключен- ныхъ браковъ, число законныхъ и внѣбрачныхъ рожденій—вотъ что можно назвать „человѣческими документами“; по нимъ узна- емъ мы о жизни народа: развивается ли онъ, счастливъ или не- счастливъ. Исторія нравовъ также очень мало станетъ пере- писать изъ романовъ Зола; отложивши ихъ въ сторону, она, когда ей понадобится данныя, обратится къ скучнымъ статистическимъ таблицамъ. Еще болѣе вздорны указанія Зола на „эксперименталь- ный романъ“. Это названіе указываетъ, что Зола понятія не имѣетъ о сущности научнаго опыта. Онъ думаетъ, что произво- дить научный опытъ, когда измышляетъ нервно-больныхъ геро- евъ, ставитъ ихъ въ придуманныя положенія, приписываетъ имъ вымышленные поступки. Научный опытъ—это обращенный къ природѣ вопросъ, на который сама же природа даетъ отвѣтъ. Вопросы ставитъ и Зола... Но къ кому они обращены? Къ при- родѣ? Нѣтъ; къ его собственной фантазіи, и ея отвѣты почему то должны имѣть доказательность. Научные выводы обязательны для всѣхъ; всякій, кто находится въ своемъ умѣ, можетъ эти выводы воспринять. Между тѣмъ выводы, къ которымъ, на осно- ваніи своихъ мнимыхъ „опытовъ“, приходитъ Зола, не имѣютъ такого объективнаго характера; это плоды его собственной фан- тазіи, это не факты, а голыя утвержденія, съ которыми каждый, по своему усмотрѣнію, можетъ соглашаться или не соглашаться. Разница между опытомъ и тѣмъ, что понимаетъ подъ этимъ словомъ Зола, до того велика, что я затрудняюсь припи- сать злоупотребленіе этимъ терминомъ у Зола его невѣже- ству или умственной несостоятельности. Я скорѣе склоненъ предположить, что мы имѣемъ дѣло съ сознательнымъ, раз- считаннымъ обманомъ. Зола появился въ то время, когда ми- стицизмъ во Франціи еще не вошелъ въ моду. Излюбленнымъ паролемъ пинущей и разглагольствующей братіи были тогда по- зитивизмъ и естественныя науки. Чтобы зарекомендовать себя въ глазахъ публики, надо было предусмотрительно заявить о своемъ позитивизмѣ и научности. Всякаго рода бакалейщики, трактир- щики и мелкіе изобрѣтатели имѣютъ обыкновеніе всегда и вез- дѣ давать своимъ произведеніямъ и магазинамъ названія, соот- вѣтствующія злобѣ дня. Трактирщикъ и лавочникъ рекоменду- ютъ теперь свои заведенія подъ фирмой „Прогрессъ“ или „Міро- вое обращеніе“, а фабрикантъ рекламируетъ свои „электрическія подтяжки“ или „магнетическія чернила“. Мы уже видѣли, что нитцшеанцы окрестили свое направленіе „психофизиологическимъ“; подобнымъ же образомъ, еще задолго до нихъ, и Зола рекламы ради наклеилъ на свои романы ярлыкъ „естественно-научнаго эксперимента“. Но его романы имѣютъ также мало отношенія къ естественнымъ наукамъ и опыту, какъ чернила къ магнетизму или подтяжки къ электричеству.

Зола прославляетъ свой методъ работы. Всѣ его произведенія почерпаютъ будто-бы свое содержаніе изъ „наблюденія“. Между тѣмъ вѣрно то, что онъ никогда не „наблюдалъ“ и никогда „не проникалъ въ полную человѣческую жизнь“, но всегда пребывалъ въ мірѣ бумажныхъ людей, весь свой матеріалъ почерпалъ въ собственной фантазіи, а свои „реалистическія“ подробности бралъ изъ газетъ и книгъ, критически не провѣривъ ихъ. Я напомнимъ нѣсколько случаевъ, гдѣ ему были указаны позаимствованный имъ источники. Въ его „Assommoir“ жизни, нравы, привычки и языкъ парижскихъ рабочихъ заимствованы изъ этюда Дениса Пуло „Le sublime“. Приключеніе въ „Une page d'amour“ взято изъ воспоминаній Казанова. Отдѣльныя черты, въ которыхъ отражается мазохизмъ или пассивизмъ графа Муффата изъ „Нана“, Зола нашелъ въ выдержкѣ Тэна изъ „Спасенной Венеціи“<sup>1)</sup> Тома Отвоа. Сцена родовъ въ „La joie de vivre“, описаніе мессы въ „La faute de l'Abbé Mouret“ и т. д.—дословно списаны изъ учебника по женскимъ болѣзнямъ и требника. Въ газетахъ иногда описываются въ подобающе важномъ тонѣ „занятія“ Зола предъ каждымъ новымъ романомъ. Эти „занятія“ состоятъ въ томъ, что онъ посѣщаетъ биржу, если рѣчь будетъ идти о спекуляціяхъ, предпринимаетъ поѣздку на локомотивѣ, если дѣйствіе должно происходить на желѣзной дорогѣ, и заглядываетъ въ доступныя спальни, когда думаетъ писать о жизни, парижскихъ кокотокъ. Подобный „наблюдатель“ не отличается отъ путешественника, изучающаго страну чрезъ окно курьерскаго поѣзда. Нѣкоторыя внѣшнія черты онъ можетъ замѣтить, можетъ даже запомнить нѣкоторые виды и вполнѣ обрисовать ихъ въ богатыхъ краскахъ, хотя и совершенно невѣрныхъ описаніяхъ, но онъ ничего не узнаетъ ни о дѣйствительно важныхъ особенностяхъ страны, ни о жизни и промыслахъ ея населенія. Какъ и всѣ вырождающіеся, Зола является въ мірѣ совершеннымъ чужестранцемъ. Его глаза никогда не обращены на природу и человѣчество, но всегда внутрь самого себя. Ни о чемъ онъ не имѣетъ непосредственнаго знанія, но все, что онъ знаетъ о мірѣ и о жизни, онъ получаетъ изъ вторыхъ и третьихъ рукъ. Флоберъ въ „Bouvard et Pécuchet“ изобразилъ двухъ глупцовъ, съ наивнымъ простодушіемъ приступающихъ ко всѣмъ искусствамъ и наукамъ и увѣренныхъ, что они овладѣли предметомъ, если перелистали о немъ первую попавшую имъ въ руки книгу. Зола также „наблюдатель“ въ духѣ Bouvard et Pécuchet, и, когда читаешь романъ Флобера, то въ нѣкоторыхъ мѣстахъ хочешь вѣрить, что онъ имѣлъ въ виду именно Зола или, по крайней мѣрѣ, также и его, когда описывалъ занятія своихъ героевъ.

Мнѣ кажется, я доказалъ, что ни одна изъ особенностей, которая составляютъ методъ Зола, не принадлежитъ ему самому. Во всѣхъ у него есть предшественники, и нѣкоторые изъ нихъ стары, какъ міръ. Мнимый реализмъ, описательскій зудъ, импрессионизмъ, подчеркиваніе milieu, человѣческіе документы,

<sup>1)</sup> Brunetière, a. a. O. P. 153.

„куски изъ жизни“—все это эстетическія и психологическія несообразности. Но Зола не принадлежит даже сомнительная заслуга быть въ ихъ оригинальнымъ. Единственное, что онъ изобрѣлъ, это слово „натурализмъ“, выдуманное имъ взамѣнъ до толѣ единственно употребительнаго слова „реализмъ“, и еще терминъ „экспериментальнаго романа“, ровно ничего не означающій, но за то обладающій пикантнымъ духкомъ естественныхъ наукъ, который во время Зола для его публики составлялъ пріятную приправу.

Единственно вѣрное и правдивое, что заключаютъ въ себѣ романы Зола, это тѣ мелкія черты, которые онъ списалъ съ вычитанныхъ изъ газетъ новостей дня и изъ специальныхъ сочиненій. Но и онѣ становятся невѣрными вслѣдствіе критической неразборчивости и отсутствія вкуса при ихъ разработкѣ. Для того, чтобы взятые изъ дѣйствительности отдѣльные факты сохранили свою правдивость, они должны остаться въ правильномъ отношеніи ко всему событію, и этого какъ разъ Зола никогда и не дѣлаетъ. Приведу только два примѣра: когда онъ въ „Pot-Bouille“ описываетъ всѣ гадости, совершенныя почтенными съ виду семействами и собранныя имъ въ теченіе тридцати лѣтъ изъ разсказовъ знакомыхъ, судебныхъ разбирательствъ и газетныхъ сообщеній, заставляеть и совершиться въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ среди обитателей одного дома на улицѣ Rue de Choiseul; или же когда онъ все дурное, что только когда либо было извѣстно о французскихъ крестьянахъ, соединяетъ въ жизни и характерѣ нѣсколькихъ жителей маленькой деревни,—то, пусть онъ даже каждую мелочь подтвердитъ газетными выдержками или другими ссылками, цѣлое все же останется смѣшнымъ и уродливымъ.

Мнимый реформаторъ, якобы вводящій до того неизвѣстные методы построения и изображенія въ области романа, Зола въ дѣйствительности не болѣе, какъ ученикъ французскихъ романтиковъ; перенявъ и усвоивъ ихъ литературные приемы, онъ является ихъ непосредственнымъ продолжателемъ, не уклоняющимся и не прерывающимъ исторической съ ними связи. Наиболѣе ясно можно понять это на его описаніяхъ, которые отражаютъ въ себѣ не самую дѣйствительность, а впечатлѣніе, производимое ею на поэта. Для сравненія приведу характерныя мѣста изъ „Notre Dame de Paris“ Виктора Гюго и различныхъ романовъ Зола, которые покажутъ читателю, какъ легко могутъ помѣняться мѣстами крайній романтикъ и такъ называемый изобрѣтатель „натурализма“. „Насось, читаемъ мы, сохранялъ свое правильное дыханіе и извергалъ водяную слюну изъ израненной металлической глотки“. „Метла съ раздраженнымъ ворчаніемъ рылась по угламъ“. „Звуки „Господи помилуй“ пробѣгали, какъ дрожь, черезъ этотъ сарай“. „Каеэдры возвышались напротивъ часовъ съ гириями, которыя были заключены въ ящики изъ орховаго дерева и глухіе удары которыхъ потрясали всю церковь, словно удары чудовищаго сердца, скрытаго гдѣ то подъ каменными плитами“. „Солнечные лучи медленно ползли по мостовой на площади и карабкались по крутому фасаду, въ то время



какъ огромная роза съ крестомъ горѣла подобно глазу циклопа, воспламененному жаркимъ пламенемъ кузницы“. „Когда священникъ покинулъ алтарь... солнце оставалась единственнымъ властелиномъ въ церкви. Лучи его легли на алтарь, зажгли яркимъ блескомъ дверцы дарохранительницы, праздную плодородіе мая. Отъ каменныхъ плитъ подымалась теплота. Покрытая штукатурной стѣны, большое изображение Богородицы и самаго Христа дышали обиліемъ жизненныхъ соковъ (!), какъ будто и смерть была побѣждена вѣчной юностью земли“. „Въ расщелинѣ водосточнаго жолоба двѣ прекрасныя расцвѣтшія гвоздики, колеблемыя дуновеніемъ вѣтра, словно живыя посылали другъ другу задорныя поклоны“. „У окна торчала большая рябина; она простирала свои вѣтви черезъ разбитыя стекла и распустила почки, словно желая заглянуть внутрь“. „Къ востоку гналь утренній вѣтеръ по небу нѣсколько бѣлыхъ клочьевъ ваты, которые онъ вырвалъ изъ руна тумановъ на холмахъ“. „Закрытыя окна спали. Тамъ и сямъ нѣкоторыя ярко освѣщенные открывали глаза, и, казалось, заставляли коситься уголь дома“. „То тутъ, то тамъ по всей поверхности крышъ уже началъ струиться дымъ, какъ бы изъ щелей громадной сольфатары“. „Жалкая гильотина, смущенная, безпокойная, пристыженная, какъ будто вѣчно боящаяся, чтобы ее не настигли на мѣстѣ преступленія, такъ быстро исчезаетъ она сейчасъ по совершеніи своего чудовищнаго дѣла“.. „Кубъ глухо безъ пламени, безъ веселья въ потухшемъ отблескѣ мѣди продолжалъ источать свой алкогольный потъ, подобно медленному упрямому источнику, грозящему наводнить залъ, выступить на бульваръ и затопить огромную яму Парижа“. „Паровая машина шла своимъ ходомъ, безъ отдыха и покоя, и, казалось, возвышала свой голосъ дрожа, сопя, наполняя огромную залу... Казалось, это было дыханіе пространства, жгучее дыханіе, сбиравшее подъ балками потолка вѣчный, колебавшійся паръ“. „У таможенной заставы въ холодѣ утра продолжалъ раздаваться топотъ стада... Эта толпа издали имѣла неопредѣленный цвѣтъ извести, производила неясное впечатлѣніе среднихъ тоновъ, въ которыхъ преобладаютъ тускло-синій и грязно-сѣрый цвѣта. Иногда одинъ изъ работниковъ останавливался... въ то время какъ остальные кругомъ него шли все дальше безъ смѣха, не обмѣнявшись ни словомъ съ товарищемъ, съ поблеклыми щеками, съ лицами, обращенными къ Парижу, который проглатывалъ ихъ одного за другимъ чрезъ зияющую улицу предмѣстья „Роissonnière“. И по мѣрѣ того, какъ онъ все дальше проникалъ въ улицу, вокругъ него копошились слѣпые, хромые, безногіе, а также и однорукіе, одноглазые, прокаженные со своими язвами; одни выходили изъ домовъ, другіе изъ маленькихъ переулковъ, третьи изъ трактирныхъ логовищъ: всѣ вопили, мычали, визжали, всѣ спотыкались и волочились, бросаясь по направленію свѣта и валяясь въ грязи, какъ слизняки послѣ дождя“. „Площадь представляла... видъ моря, въ которое пять или шесть улицъ, словно устья, каждый моментъ выплевываютъ изъ себя новые потоки людей... Большая лѣстница, по которой непрестанно подымался и спускался двойной потокъ людей... непрерывно заполняла площадь,

словно водопадъ, впадающій въ озеро“. „Они, казалось, двигались въ безпокойномъ свѣтѣ пламени. Это были маски, глядѣвшія такъ, какъ будто онѣ смѣялись, рыльца, которыхъ твяканье, казалось, было слышно, саламандры, раздувавшія огонь, драконы, чихавшіе въ дымъ“. „Это не было болѣе холодныя витрины, какъ утромъ. Теперь они казались раскаленными и дрожащими отъ внутренняго движенія. Люди смотрѣли на нихъ, женщины останавливаясь въ молчаніи тѣснились другъ къ другу предъ зеркальными стеклами, цѣлое множество людей озвѣрѣло отъ алчности. А ткани жили въ этой страсти улицы, содрогались, спускались и закрывали глубину магазина, словно тайну.

Эти сопоставленія легко могли бы занять сотни страницъ. Я позволилъ себѣ небольшую шутку, не указавъ при цитированныхъ выдержкахъ имени автора. Особенно внимательный читатель, быть можетъ, и отгадаетъ, кому изъ двухъ, Виктору Гюго или Зола, принадлежитъ тотъ или другой отрывокъ; я облегчилъ эту задачу тѣмъ, что Гюго я цитировалъ только изъ „Notre Dame“; но въ большей части ихъ читатель не узнаетъ автора, пока я не открою ему, что 5, 7, 9, 11, 12, 16, 17 и 18 примѣры взяты изъ Виктора Гюго, а всѣ другіе у Зола.

Зола насквозь романтикъ въ своемъ отношеніи къ міровымъ явленіямъ и своемъ методѣ въ искусствѣ. Онъ постоянно въ наиболѣе пространной и интенсивной формѣ изощряется въ томъ атавистическомъ антропоморфизмѣ и символизмѣ, который является слѣдствіемъ неразвитаго или мистически спутаннаго мышленія, и у дикарей составляетъ нормальную, а у вырождающихся всѣхъ категорій атавистическую форму интеллектуальной дѣятельности. Какъ Гюго и второстепенные романтики, Зола каждое явленіе видитъ въ необычайно преувеличенныхъ размѣрахъ таинственно грознымъ и до ужаса искаженнымъ. Оно дѣлается для него, какъ и для дикаря, фетишемъ, которому онъ приписываетъ злую, враждебную волю. Машины превращаются въ огромныхъ страшныхъ животныхъ, грезящихъ объ уничтоженіи; улицы Парижа разверзаютъ свою молохову пасть, чтобы поглотить множество людей; модный магазинъ—сверхъестественно сильное возбуждающее страхъ существо, которое глубоко вздыхаетъ, затягиваетъ, удушаетъ и т. д. Критика, не понимая психіатрической природы этой черты, уже давно отмѣтила, что въ каждомъ романѣ Зола одно какое нибудь явленіе проникаетъ его, подобно навязчивой идеѣ, составляетъ средоточіе всего романа и, какъ грозный символъ, вторгается въ жизнь и дѣйствія каждого лица. Такъ въ „Assomoir“ эту роль играетъ дистиллировочный аппаратъ, въ „Pot-Bouille“ „торжественная лѣстница“, въ „A bonheur des dames“ модный базаръ, въ „Nana“ даже сама героиня, которая не обыкновенная публичная женщина, но „страшное чудовище съ порочно-округленными формами, ужасная народная Венера, столь же скотски глупая, сколь и грубо безстыдная, какое то подобіе индусскихъ боговъ, которой стоитъ только сбросить покрывало, чтобы приковать старцевъ и гимназистовъ, и которая сама по временамъ чувствуетъ, какъ она вла-

ствуеть надъ Парижемъ и міромъ“<sup>1)</sup> Подобный символизмъ мы встрѣчаемъ у всѣхъ дегенератовъ, не только у собственно символистовъ и другихъ мистиковъ, но даже у демонистовъ, и особенно у Ибсена. Въ маніи сомнѣнія или отрицанія<sup>2)</sup> у Зола нѣтъ недостатка. Мнимый „реалистъ“ такъ же мало видитъ трезвую дѣйствительность, какъ суевѣрно настроенный дикарь или страдающій галлюцинаціями помѣшанный. Свое настроеніе онъ приноситъ въ окружающій міръ, и явленія его произвольно комбинируетъ такимъ образомъ, что они кажутся выраженіемъ овладѣвшей имъ идеи. Мертвымъ предметамъ онъ сочиняетъ сказочную жизнь и преобразовываетъ ихъ въ духовъ, надѣленныхъ ощущеніями, волей, коварными цѣлями и мыслями; и напротивъ люди у него превращаются въ автоматы, на которыхъ проявляется таинственная власть, рокъ въ томъ смыслѣ, какъ его понимали древніе, сила природы, разрушительное начало. Въ его безконечныхъ описаніяхъ отражается только его собственный внутренний міръ. Вы никогда не получите изъ нихъ представленія о дѣйствительности. Явленія внѣшняго міра для него та же свѣже нарисованная масляными красками картина: если стоять къ ней слишкомъ близко при неблагоприятномъ освѣщеніи, то ничего не различите, кромѣ отраженія собственнаго лица.

Зола называетъ свою серію романовъ „исторіей естественной и соціальной жизни семьи во время второй Имперіи“ и хочетъ этимъ сказать, во-первыхъ, что Ругонъ-Макары представляютъ собой среднюю типическую семью французской буржуазіи, и что, во-вторыхъ ея исторія представляетъ общественную жизнь Франціи при Наполеонѣ III. Въ основу искусства Зола выразительно ставитъ то требованіе чтобы романистъ рассказывалъ только о наблюдаемой имъ повседневной жизни<sup>3)</sup>. Я самъ лѣтъ пятнадцать тому назадъ далъ себя ввести въ заблужденіе его болтовней и съ вѣрой принималъ его романы, какъ вклады изъ исторіи нравовъ въ общую сумму изслѣдованія французской жизни. Но теперь я знаю его лучше. Семья, исторію которой Зола преподноситъ въ двадцати солидныхъ томахъ, стоитъ совершенно внѣ сферы нормальной будничной жизни и рѣшительно ничѣмъ не связана непременно съ Франціей или со второй Имперіей. Она съ тѣмъ же успѣхомъ могла бы жить въ Патагоніи или во время тридцатилѣтней войны. Зола, смѣявшійся надъ „идеалистами“, какъ надъ „поэтами исключительнаго, никогда не бывшаго“, самъ содержаніемъ труда своей жизни выбираетъ

<sup>1)</sup> Brunetière, P. 156.

<sup>2)</sup> „Все тайна. Все только кажется. Ничего не существуетъ въ дѣйствительности“. Вотъ слова одной большой Arnaud'a, страдавшей маніей отрицанія. См. F. L. Arnaud. Sur le délire des négations. Annales medico-psychologiques, 7-me série, Tome 16, p. 387 ff.

<sup>3)</sup> „Я хотѣлъ бы переложить на бѣлый листъ бумаги всѣ вещи, всѣ существа, созданы на ней огромный ковчегъ“. Зола, предисловіе къ изданію 1875 г. „Faute de l'Abbé Mouret“. „Окунитесь въ банальный ходъ бытія“. „Героями выберите дюжину лицъ во всей простотѣ ихъ повседневной жизни“. „Не надо никакихъ дутыхъ апофеозовъ, никакихъ ложныхъ сильныхъ чувствъ, готовыхъ формулъ“ и т. д. Зола, Le roman expérimental, passim.

наисключительнѣйшее изъ того, что только есть: его романы—это сборище вырождающихся, сумашедшихъ, преступниковъ, проститутокъ и „маттопдовъ“, совершенно исключительныхъ по своимъ болѣзненнымъ свойствамъ; его персонажи не принадлежатъ къ благоустроенному обществу, но отвергнуты имъ и ведутъ съ нимъ постоянную борьбу; они совершенно чужды своему времени и своей странѣ и по существу своей натуры скорѣй сочлены дикой первобытной орды отдаленныхъ тысячелѣтій, чѣмъ какого либо современнаго культурнаго народа. Зола утверждаетъ, что онъ рисуетъ наблюдаемую имъ жизнь и лично видѣнныхъ людей. Фактически онъ ничего не видѣлъ и ничего не наблюдалъ, но идею труда своей жизни, всѣ детали своего плана, всѣхъ персонажей своихъ двадцати романовъ почерпнулъ единственно изъ литературнаго источника: и характерно, что до сихъ поръ его критикамъ это оставалось неизвѣстнымъ, такъ какъ никто изъ нихъ не обладаетъ ни малѣйшими познаніями въ психиатрической литературѣ. Во Франціи есть семейство Керангалей, родомъ изъ С.-Бріекъ въ Бретани, исторія котораго вотъ уже въ продолженіе шестидесяти лѣтъ заполняетъ лѣтописи уголовно-карательныхъ заведеній и учрежденій для душевно-больныхъ. Въ двухъ поколѣніяхъ уже до сихъ поръ оно насчитываетъ (и то лишь, по сколько это дошло до свѣдѣнія властей) семь убійцъ, девять лицъ, занимавшихся безнравственнымъ промысломъ (содержательница публичнаго дома, проститутка, она же поджигательница и кровосмѣсительница, осужденная за распутство, открытое совершенное на улицѣ) и т. д. И въ то же время въ числѣ его членовъ есть одинъ живописецъ, одинъ поэтъ, архитекторъ, актриса, нѣсколько слѣпыхъ и одинъ композиторъ <sup>1)</sup>. Исторія этой семьи Керангалей дала Зола матеріалъ для всѣхъ его романовъ. Чего онъ иногда, какъ самъ это въ дѣйствительности знаетъ, не встрѣчалъ въ жизни, то дали ему готовымъ полицейскіе и медицинскіе отчеты о Керангаляхъ: онъ нашелъ здѣсь богатый выборъ ужаснѣйшихъ преступленій, выходящихъ изъ ряду вонъ приключеній, безумно и безпутно прожитыхъ жизней и наряду съ этимъ склонность къ искусству, что придавало всему особенно пикант-

<sup>1)</sup> Фамилія Керангалей посвящено много работъ, и въ специальной литературѣ она хорошо извѣстна. Последнее (но не первое!), что о ней опубликовано, это сочиненіе Dr. Paul Aubry, Une famille de criminels. *Annales médico-psychologiques*, Serie 7, Band 16, с. 429 (см. именно на ст. 432—3 замѣчательное родовое дерево семейства, въ которомъ не трудно тотчасъ же узнать прославленное дерево Ругонъ-Макаровъ и Квэню-Градэллей у Зола) и *La Contagion de Meurtre*, Paris, 1894.

Зола увѣряетъ, что онъ ничего не знаетъ объ исторіи семейства Керангалей, и въ доказательство приводитъ то обстоятельство, что упомянутая здѣсь работа Dr. Aubry относится къ 1881 году, а онъ свое генеалогическое дерево Ругонъ-Макаровъ опубликовалъ уже въ 1876 г. Это доказательство шатко, такъ какъ задолго до приведенной статьи, появившейся, дѣйствительно позже родословной Ругонъ-Макаровъ, Dr. Aubry опубликовалъ рядъ сообщений о Керангаляхъ. Самое первое изъ нихъ, которое я знаю, появилось въ 1863 г. Я готовъ однако вѣрить и недоказанному заявленію Зола и хочу только установить, что совпаденіе между его вымысломъ и криминально-антропологической работой Dr. Aubry во всякомъ случаѣ въ высокой степени замѣчательно.

ный характеръ. Если бы сдѣлать эту находку посчастливилось какому нибудь кропателю романовъ задней лѣстницы, то онъ, вѣроятно, неумѣло бы растратилъ матеріалъ въ своихъ кропаніяхъ. Но Зола со своей силой и мрачной впечатлительностью зналъ, какъ его можно утилизировать наиболѣе дѣйствительнымъ образомъ. Все же область, которой онъ касается, есть область лубочныхъ романовъ, т. е. пришедшей въ упадокъ романтики, поселяющей, вопреки своему цвѣтущему періоду, свои вымысли не во дворцахъ, а въ трущобахъ, тюрьмахъ и домахъ для сумасшедшихъ. Изображаемая жизнь столь же далека и теперь отъ нормальной жизни средняго слоя, какъ была далека и въ расцвѣтъ романтизма, но только въ противоположномъ направленіи: если прежде царилъ она въ небесахъ, то теперь забралась въ небывалыя трущобы. Если Зола значительно болѣе одаренъ, чѣмъ авторы, „Ринальдо Ринальдини“, „Кровавыхъ полуночныхъ монахинь“, „Палача съ камня ужасовъ“ и т. д., то онъ и значительно безчестнѣе ихъ. Они по крайней мѣрѣ признавали, что рассказываютъ въ высшей степени удивительные и необычные ужасы, а онъ всю свою набранную хронику преступниковъ и сумасшедшихъ выдаетъ за нормальную естественную исторію французскаго общества, нарисованную на основаніи наблюденій повседневной жизни.

Благодаря выбору содержанія изъ области необычайнаго и исключительнаго, благодаря дерзкому или же психопатическому символизму и антропоморфизму своего въ высшей степени ложнаго міросозерцанія, „реалистъ“ Зола оказывается непосредственнымъ, прямолинейнымъ продолжателемъ романтиковъ; его сочиненія отличаются отъ сочиненій его литературныхъ предковъ только двумя свойствами, которыя хорошо понималъ Брюнетьеръ: это „пессимизмъ и преднамѣренной циничностью“. Эти свойства Зола даютъ намъ, наконецъ, характерную черту такъ называемаго реализма или натурализма, которую мы тщательно пытались обнаружить психологическими, эстетическими и историко-литературными изысканіями: натурализмъ не имѣетъ никакого отношенія ни къ природѣ, ни къ дѣйствительности, всего на всего онъ умышленно разрабатываетъ лишь пессимизмъ дурного тона и порнографическія темы.

Пессимизмъ, какъ философское ученіе, есть послѣдіе первобытнаго суевѣрія, которое ставило человѣка цѣлью и средоточіемъ вселенной. Это одна изъ философскихъ формъ эгоизма. Всѣ положенія пессимистическихъ философовъ, направленные противъ природы и жизни, только тогда имѣютъ смыслъ, если въ основу ихъ положить признаніе верховныхъ правъ человѣка въ мірозданіи. Когда философъ говоритъ: природа неразумна, природа безнравственна, природа жестока, то не значить ли это въ другихъ словахъ: я не понимаю природы, а она существуетъ лишь къ тому, чтобъ я ее понималъ; природа заботится не объ одной моей пользѣ, а у нея не должно быть никакой другой задачи, какъ быть мнѣ полезной; природа даетъ мнѣ только короткое, часто исполненное страданій существованіе, а между тѣмъ ея долгъ заботиться о вѣчности и постоянныхъ радостяхъ моей жизни? Когда Оскаръ Вильде сердится, что природа не создала ни-

какой разницы между нимъ и пасущимся на травѣ скотомъ, то намъ смѣшно это ребячество. Но что же собственно сдѣлали всѣ эти Шопенгауеры, Гартманы, Майнлендеры, Банзены, какъ не то, что съ серьезной горечью наводнили толстые томы наивнымъ высокоуміемъ Вильде. Философскій пессимизмъ ставитъ постулатомъ геоцентрическое міровоззрѣніе и долженъ раздѣлить участь Итоломеева ученія. Разъ мы становимся на точку зрѣнія Коперника, то мы теряемъ всякое право, да и желаніе, мѣрять природу мѣркой нашей логики, нашей морали и собственной выгоды. Говорить, что природа неразумна, безнравственна или ужасна, значить говорить пустяки, лишенные всякаго содержанія фразы.

Вѣрно однако и то, что пессимизмъ даже не философія. а темпераментъ. „Органическія ощущенія, говоритъ Дж. Сюлли, <sup>1)</sup> которыя порождаются временнымъ состояніемъ нашихъ органовъ пищеваренія, дыханія и др., кажется, лежатъ въ основаніи, какъ показали недавно профессоръ Феррье, нашей эмоціальной жизни. Если эти органы здоровы и отправления ихъ правильны, то, какъ психическій результатъ, является основное чувство удовольствія. Если же состояніе органовъ ненормально, и дѣятельность ихъ ослаблена или задержана, то психическимъ результатомъ будетъ соотвѣтственное количество непріятныхъ чувствъ“. Пессимизмъ всегда есть форма, въ которой болѣзненное состояніе и прежде всего истощеніе нервной системы доходитъ до сознанія больного. „*Tedium vitae*“ или пресыщеніе жизнью—одно изъ первыхъ предзнаменованій сумасшествія и всегда сопутствуетъ неврастенію или истеріи. Ясно, что вѣкъ всеобщаго органическаго изнуренія необходимо будетъ вѣкомъ пессимизма. Извѣстна постоянная тенденція сознанія съ кажущейся очевидностью обосновывать заднимъ числомъ доходящія до него эмоціальныя состоянія: обосновывать по законамъ формальной логики, исходя изъ суммы наличныхъ представленій. Такъ и пессимистическое настроеніе, какъ результатъ органическаго утомленія, есть основа, а пессимистическая философія—лишь послѣдующее измышленіе комментирующаго сознанія. Въ Германіи это состояніе, соотвѣтственно склонности къ спекулятивному мышленію и высокому умственному развитію нѣмецкаго народа, нашло себѣ выраженіе въ философскихъ системахъ. Во Франціи же при преобладаніи эстетической черты въ характерѣ французскаго народа оно вылилось въ художественной формѣ. Зола и его натурализмъ—на французской почвѣ нашъ Шопенгауеръ съ его философскимъ пессимизмомъ. Согласно со всѣмъ, что мы знаемъ о законахъ мышленія, натурализмъ видитъ въ мірѣ только грубость, низость, мерзость и испорченность. Ассоціація идей въ сильной степени, какъ извѣстно, опредѣляется эмоціями. Какой-нибудь Зола, уже заранѣе исполненный непріятныхъ органическихъ ощущеній, вос-

<sup>1)</sup> James Sully, *Le pessimisme (histoire et critique)*. Traduit de l'Anglais par MM. Alexis Bertrand et Paul Gérard. Paris 1882 p. 389. См. также с. 231, 333—4, 387 и др. этой превосходной и по истинѣ исчерпывающей книги, которая, къ удивленію, кажется осталась въ Германіи неизвѣстной.

принимаетъ изъ окружающаго только тѣ явленія, которыя гармонируютъ съ его основнымъ органическимъ настроеніемъ; такія, которыя ему противорѣчатъ или не соотвѣтствуютъ, онъ вовсе не замѣчаетъ и не наблюдаетъ. Равнымъ образомъ изъ всѣхъ представленій, которыя будить въ немъ воспріятіе, сознание удерживаетъ только непріятныя, подходящія къ отвратительному доминирующему настроенію, и подавляетъ остальные. Романы Зола доказываютъ не то, что въ мірѣ все обстоитъ скверно, но то, что нервная система Зола ненормальна.

Его особая любовь къ низменному—тоже хорошо извѣстное болѣзненное явленіе. „Слабоумные“, говоритъ Sollier <sup>1)</sup>, „любятъ сквернословить... Эта страсть совершенно своеобразна; она наблюдается именно у вырождающихся субъектовъ и такъ же естественна для нихъ, какъ для людей здоровыхъ приличный тонъ“. Жюль Делятуретъ даетъ имя копролаліи (навозная рѣчь) такому изверженію проклятій и грязныхъ выраженій, имѣющему характеръ навязчиваго побужденія. Эта страсть характеризуется Катру <sup>2)</sup> въ его превосходномъ изображеніи болѣзни, которую онъ назвалъ „болѣзнь судорожно принудительныхъ движеній“. Зола въ весьма высокой степени подверженъ копролаліи. Онъ чувствуетъ потребность употреблять грязныя выраженія, а сознание его всегда заполнено представленіями объ экскрементахъ, отправленіяхъ желудка и всего, что съ ними связано. Андрей Верга нѣсколько лѣтъ тому назадъ описалъ форму ономатоманіи или болѣзненно-ненормальной склонности къ нѣкоторымъ словамъ, которую онъ называетъ „*mania blasphematoria*“, или помѣшательство на проклятійхъ. Оно проявляется въ неодолимомъ влеченіи больного къ проклятіймъ и богохульству. Къ Зола діагнозъ Верга всецѣло подходитъ. Только такой *mania blasphematoria* должно объяснить то, что въ романѣ „La Terre“ онъ одному парню, безъ всякой художественной необходимости, безъ всякой эстетической цѣли, будетъ ли это желаніе вызвать чувство веселости или придать мѣстный колоритъ, даетъ насмѣшливое прозвище Иисуса Христа. Наконецъ поразительна его страсть къ жаргону воровъ, сутенеровъ и т. п.; онъ прибѣгаетъ къ нему не только тогда, когда заставляетъ говорить лицъ данной категоріи, но даже и въ томъ случаѣ, когда онъ, поэтъ, самъ даетъ характеристики или анализируетъ. На это пристрастіе къ „арго“ ясно указываетъ Ломброзо <sup>3)</sup>, какъ на признакъ вырожденія у врожденныхъ преступниковъ.

Путаница въ понятіяхъ Зола, которая даетъ себя знать въ его теоретическихъ сочиненіяхъ, въ изобрѣтеніи слова „натурализма“ и его представленіяхъ объ „экспериментальномъ романѣ“, его чрезмѣрное пристрастіе къ изображенію сумашедшихъ, пре-

<sup>1)</sup> Dr. Paul Sollier, Psychologie de l'idiot et de l'imbécile Paris, 1891 P. 95.

<sup>2)</sup> Catrou, Etude sur la maladie des tics convulsifs (Jupming, Latah, Myriachit). Paris, 1890.

<sup>3)</sup> Lombroso, L'Homodelinquente и т. д. С. 467 ff.

ступниковъ, проституткокъ и полоумныхъ <sup>1)</sup>, его антропоморфизмъ и символизмъ, его пессимизмъ, копролалия и влеченіе къ воровскому жаргону—все это въ достаточной мѣрѣ характеризуетъ Зола, какъ дегенерата высшаго порядка. Но кромѣ того онъ обнаруживаетъ еще нѣкоторые особенно характерные признаки, дающіе возможность вполне твердо установить діагнозъ.

Что онъ страдаетъ половой психопатіей, видно на каждой страницѣ его романа. Онъ не выходитъ изъ круга представленій самой низменной плотской чувственности и вплетаетъ ихъ въ каждое происшествіе своихъ романовъ, не имѣя возможности привести въ оправданіе никакихъ художественныхъ соображеній. Картины противоестественнаго разврата, скотоложества, пассивизма и другихъ извращеній заполняютъ его сознание. При этомъ онъ не довольствуется однимъ людьми, но рисуетъ себѣ даже картины оплодотворенія у животныхъ (см. первую главу въ „La Terre“). Особенное возбужденіе вызываетъ въ немъ видъ женскаго бѣлья, о которомъ онъ никогда не можетъ говорить безъ того, чтобы не выдать чувственнымъ характеромъ своихъ описаній, какъ пробуждаются въ немъ соотвѣтственные сладострастные представленія. Пусть оцѣнятъ хотя бы слѣдующія мѣста, которыя легко можно было бы во многократъ умножить: „Кружева и частіи бѣлья, развернутыя, смятыя, брошенныя какъ попало, заставляли думать, что здѣсь безпорядочно раздѣлась толпа женщинъ, охваченныхъ внезапнымъ желаніемъ“. „Всѣ принадлежности бѣлья были вынуты, и его было достаточно, чтобы одѣть во все бѣлое зябнущихъ боговъ любви“. „Тутъ стояло цѣлое войско куколъ безъ головы и ногъ, только одинъ туловища, придвинутыя въ рядъ другъ къ другу, и скрытыя подъ шелкомъ груди куколъ выводили изъ себя зрителя сладострастіемъ своей искривленности (!); а по близости на другихъ подставкахъ турнюры изъ конскаго волоса и блестящей матеріи придавали имъ видъ упруго крутыхъ крупцовъ, очертанія которыхъ казались каррикатурной непристойностью... Тамъ лежали камзолы, коротенькіе лифчики, утренніе каноты, плафроки, полотно, кружева, длинныя одежды, всѣ бѣлыя, свободныя, тонкія, въ которыхъ чувствовалась полуденная нѣга послѣ ночей страсти... Въ отдѣленіи для невѣстъ совершалась неприличная уборка: видъ обнаженной, снизу разсматриваемой женщины, начиная отъ мелкой горожанки въ простомъ полотнѣ до богатой дамы въ кружевахъ, и раскрытой спальни съ ея пышностью, складками, узорами и кружевами возбуждалъ чув-

<sup>1)</sup> Изображенія у Зола преступниковъ съ принудительными влеченіями, конечно, неправильны. Широкая публика очень удивлялась тонкой обрисовкѣ убійцы Lantier въ романѣ „La bête humaine“. Но вотъ что говорить объ этомъ персонажѣ, данныя для созданія котораго Зола, по собственному признанію, почерпнулъ въ „Homme délinquant“, самый свѣдущій судья въ этой области Ломброзо: „Зола—читаемъ мы—... по моему убѣжденію не наблюдаетъ преступника въ жизни... Типы его преступниковъ производятъ на меня впечатлѣніе той же блѣдности и смесности, которую мы встрѣчаемъ въ извѣстныхъ свѣтописныхъ картинахъ, передающихъ портреты не съ натуры, а съ писанныхъ масляными красками изображеній“. Le rôle descenti scoperie и т. д. Turin 1893, с. 356.



ственную порочность<sup>1)</sup>. Это дѣйствіе созерцанія женскаго бѣлья на вырождающихся, одержимыхъ половой психопатіей, хорошо извѣстно психіатрици и часто было отмѣчаемо Краффтъ-Эбингомъ<sup>2)</sup>, Ломброзо и другими.

Въ зависимости отъ половой психопатіи находится и та роль, которую играютъ у Зола ощущенія запаха. Преимущественное значеніе чувства обонянія и отношеніе его къ половой жизни отмѣчается у многихъ вырождающихся. Впечатлѣнія запаха получаютъ выдающееся вліяніе и въ ихъ произведеніяхъ. Въ „Войнѣ и мирѣ“ Толстой заставляетъ графа Пьера принять внезапно рѣшеніе жениться на княжнѣ Эленѣ, когда онъ почувствовалъ запахъ ея тѣла<sup>3)</sup>. Въ разсказѣ „Козаки“ онъ никогда не говоритъ о Ерощкѣ безъ того, чтобъ не упомянуть о его запахѣ. Въ предыдущихъ главахъ мы видѣли, какъ охотно демонисты и декаденты, Бодлэръ, Гюисмансъ и др. останавливаются на впечатлѣніяхъ запаха и притомъ именно зловоннаго. Баррессъ<sup>4)</sup> въ „*Ennemi des lois*“ влагаетъ въ уста своей маленькой принцессы слѣдующія слова: „Каждый день утромъ я иду въ конюшню,—о, этотъ маленькій теплый, пріятный конюшенный запахъ!—и она нюхала съ восхитительно (!) сладострастнымъ выраженіемъ“. Гонкуръ<sup>5)</sup> описываетъ въ „*La Faustin*“, какъ актриса давала своему лорду Анандолю вдыхать запахъ своей груди: „Нюхайте, говорила она лорду Анандолю,—что вы теперь слышите?—Теперь я слышу запахъ гвоздики, отвѣчали онъ и упивался поцѣлуями.—Что еще?—Вашу кожу“. А. Бине<sup>6)</sup> замѣчаетъ, что „есть запахи чловѣческаго тѣла, которые были рѣшающей причиной дѣлага ряда браковъ между образованными мужьями и женами изъ низшихъ сословій, служанками и т. д. Для нѣкоторыхъ мужчинъ главное въ женщинѣ не ея красота, умъ, сила характера, но ея запахъ. Вожделѣніе, вызываемое любимымъ запахомъ, заставляетъ ихъ увлекаться иногда старыми, безобразными, развратными и порочными женщинами. Такое сладострастное обожаніе запаха доходитъ до степени болѣзни“, болѣзни, прибавлю я, которой страдаютъ только вырождающіеся. Примѣры, которые Бине приводитъ въ своей книгѣ и которые желающіе могутъ прочесть тамъ

<sup>1)</sup> Zola, *Au bonheur des dames*, Paris, 1891, с. 141, 487, 493-4.

<sup>2)</sup> Dr. R. Krafft-Ebing, *Psychopathia sexualis* и т. д. Третье изданіе Stuttgart, 1888. Наблюденіе 23; случай Zippes, с. 55; наблюденіе 24, случай Possow с. 56, примѣчаніе на с. 57, случай Lombroso. Во всѣхъ трехъ наблюденіяхъ больные старались увидѣть или прикоснуться къ женскому бѣлью, чтобы возбудить свою чувственность.

Cesare Lombroso, *Le più recenti scoperte et applicazioni della psichiatria et antropologia criminale. Con 3 tavole* с. 52, figure nel testo. Turin, 1893, с. 227: „Онъ всегда испытывалъ сладострастное вожделѣніе при видѣ женскаго бѣлья и интимныхъ принадлежностей дамскаго туалета“. Въ этомъ случаѣ Ломброзо рѣчь идетъ о пятнадцатилѣтнемъ дегенератѣ, котораго наблюдалъ Dr. Mak-Donald.

<sup>3)</sup> Левъ Толстой „Война и миръ“: „Онъ слышитъ тепло ея тѣла, запахъ духовъ“ и т. д.

<sup>4)</sup> M. Barrès, *L'ennemi des lois*. Paris, 1893, с. 47.

<sup>5)</sup> Edmond de Goncourt, *La Faustin*. Paris, 1882, с. 267.

<sup>6)</sup> Alfred Binet, *Le fétichisme dans l'amour* и т. д. Paris, 1890 с. 26.

же, такъ какъ у меня нѣтъ ни малѣйшаго желанія здѣсь повторять ихъ, доказываютъ это въ достаточной степени, и Краффтъ-Эбингъ<sup>1)</sup>, устанавливая „близкую зависимость между половымъ чувствомъ и чувствомъ обонянія“, все же выразительно заявляетъ: „во всякомъ случаѣ насколько дѣло касается физиологій“ (т. е. слѣдовательно въ предѣлахъ здоровой жизни) „... воспріятія запаха играютъ весьма подчиненную роль“. Но помимо даже своего вліянія на половую возбудимость необыкновенно развитое чувство обонянія у вырождающихся не только высшихъ, но даже и низшихъ категоріи обращало на себя вниманіе многихъ наблюдателей. Такъ, напримѣръ, у Сегуена мы читаемъ объ „идиотахъ“, которые при помощи одного чутья, не пользуясь услугами зрѣнія, различали деревья и камни, и въ которыхъ въ то же время запахъ и вкусъ человѣческихъ испражненій не возбуждали отвращенія; чувство осязанія, напротивъ, у нихъ было несоотвѣтственно притуплено“.

Къ этой категоріи принадлежит и Зола. Вы видимъ у него болѣзненную чуткость его сознанія къ воспріятіямъ запаха и вмѣстѣ съ тѣмъ извращеніе чувства обонянія, вслѣдствіе чего самыя отвратительныя зловонія, и именно изъ человѣческихъ испражненій, имѣютъ для него особую прелесть и возбуждаютъ его чувственность. Одинъ преподаватель гимназіи въ Монпелье, Леопольдъ Бернардъ, задался цѣлью собрать въ весьма тщательной, но къ удивленію оставшейся почти неизвѣстной работѣ<sup>2)</sup>, всѣ тѣ мѣста въ романахъ Зола, въ которыхъ онъ говоритъ о запахахъ, и показать въ ней, что о людяхъ и вещахъ Зола получаетъ представленія, не какъ всѣ нормальные люди, прежде всего при помощи зрѣнія и слуха, но при помощи обонянія. Онъ характеризуетъ своихъ персонажей ихъ запахомъ. Въ „La Faute de l'Abbé Mouget“ Альбина сравнивается „съ огромнымъ букетомъ цвѣтовъ съ сильнымъ запаховъ“, Сержъ былъ въ „семинаріи лиліей, благоуханіе которой восхищало его учителей“ (!). Деzirэ „пахнетъ здоровьемъ“, Нана „запахомъ жпзни, всемогуществомъ женщины“. Въ „Pot-Bouille“ Башеларъ отдаетъ запахомъ „простонароднаго пота“, г-жа Компардонъ имѣетъ „свѣжій запахъ осеннихъ плодовъ“. Франсуаза въ „Ventre de Paris“ пахнетъ „землей, сѣномъ, свободнымъ воздухомъ и небомъ“. Въ томъ же романѣ фигурируетъ „симфонія сыра“, которая такъ же славится у поклонниковъ Зола, какъ и сладострастно детальное описаніе разнообразной вони грязнаго бѣлья въ „Assommoir“.

Эта страсть Зола къ запахамъ пресловутымъ „тонкимъ знакамъ“ даетъ, конечно, возможность найти въ немъ еще новыя достоинства и совершенства. Поэтъ, у котораго такъ сильно развито обоняніе, который благодаря ему получаетъ такія богатые впечатлѣнія отъ вѣшняго міра, несомнѣнно, представляетъ изъ себя „лучшее вибрирующее орудіе наблюденія“, и способность

<sup>1)</sup> Dr. R. Krafft-Ebing, Psychop. sex. и т. д., с. 15, подстрочное примѣчаніе и с. 17.

<sup>2)</sup> L. Bernard, Les odeurs dans l'oeuvre de Zola. Montpellier, 1887.

его къ описанію гораздо многостороннѣе, чѣмъ у тѣхъ поэтовъ, которые получаютъ впечатлѣнія меньшимъ количествомъ чувствъ. Зачѣмъ оставлять безъ вниманія воспріятія обонянія въ поэзіи? Развѣ оно не столь же важно, какъ и всѣ орудія чувства? И вотъ мигсѣмъ на этомъ строится цѣлая эстетическая теорія, которая, какъ мы видѣли, заставляетъ разныхъ Эссеинтовъ, Гюнсемановъ составлять симфонію запаховъ, а символистовъ приводитъ къ тому, что они комментируютъ передъ публикой свои стихотворенія соотвѣтствующими ихъ содержанію ароматами. Эти болтливые цѣнители даже не замѣчаютъ, что въ своихъ теоріяхъ они противорѣчатъ общему ходу органическаго развитія въ животномъ царствѣ. Организмамъ вовсе не свойственно представлять себѣ внѣшній міръ по даннымъ одного или другого чувства. Они въ этомъ случаѣ вполне подчинены тому или другому устройству своей нервной системы. Болѣе развитыми чувствами являются тѣ, которыми существо пользуется для пріобрѣтенія своего сознанія. Мало или вовсе не развитія чувства почти совершенно не помогаютъ мозгу въ пониманіи и познаніи міра. Коршуну и кондору внѣшній міръ представляется картиной, летучей мыши и кроту—рядомъ осязательныхъ и слуховыхъ впечатлѣній, собака весь міръ познаетъ преимущественно обоняніемъ. Что же касается обонянія, то главные центры его главнымъ образомъ въ такъ называемыхъ слизистыхъ оболочкахъ носа, которыя уменьшаются по мѣрѣ того, какъ увеличивается лобная часть мозга. Чѣмъ ниже мы спустимся въ ряду позвоночныхъ животныхъ, тѣмъ сильнѣе будутъ развиты у нихъ эти слизистыя оболочки носа и тѣмъ меньше лобная часть мозга. У человѣка онѣ развиты очень мало, и лобная часть, представляющая, какъ предполагаютъ, пунктъ высшихъ умственныхъ отправленій, а также и способности рѣчи быстро прогрессируетъ. Въ силу этихъ анатомическихъ условій, совершенно не зависящихъ отъ нашего вліянія, обоняніе почти не играетъ никакой роли въ развитіи нашего познанія. Человѣкъ получаетъ свои впечатлѣнія отъ внѣшняго міра не посредствомъ носа, а, главнымъ образомъ, посредствомъ уха и глаза. Въ выработкѣ понятій, составляющихся изъ отдѣльныхъ представленій, впечатлѣнія обонянія играютъ крайне незначительную роль. Такимъ образомъ, запахи могутъ только въ чрезвычайно ограниченной степени вызывать отвлеченныя понятія, т. е. высшую и сложную дѣятельность мышленія и сопровождающія ихъ эмоціи; „симфонія запаховъ“ въ смыслѣ Эссеинта не можетъ, слѣдовательно, создать впечатлѣніе нравственно-прекраснаго, ибо оно является представленіемъ, вырабатываемымъ центрами мышленія. Для того, чтобы человѣкъ получилъ способность лишь посредствомъ запаха получать отвлеченныя понятія, а, слѣдовательно, и вполне законченныя мысли, для того, чтобы человѣкъ всѣ свои впечатлѣнія внѣшняго міра, со всѣми его законами, представлялъ бы въ видѣ ряда запаховъ, необходимо уменьшить лобную часть его мозга и дать ему обоняніе собаки, но это не въ силахъ сдѣлать безмозглые „знатоки“, если бы даже они съ большимъ фанатизмомъ проповѣдывали свою налѣпую эстетику. Эти „нюхальщики“ среди вырождающихся представляютъ шагъ на-

завдъ не только къ первобытнымъ временамъ человѣчества, но даже къ временамъ до человѣческимъ. Ихъ атавизмъ доходить до животныхъ, у которыхъ, какъ теперь у кабарги, половая дѣятельность возбуждается непосредственно впечатлѣніями обонянія или которыя, какъ, напримѣръ, собака, получаютъ все свое представление о мѣрѣ лишь посредствомъ носа.

Необычайный успѣхъ, которымъ Зола пользуется у своихъ современниковъ, объясняется не способностями его, какъ писателя, не силой и грандіозностью его романтическихъ описаній, не правдоподобностью и страстностью его пессимистическихъ эмоцій, вслѣдствіе которыхъ его описанія горя и страданій производятъ такое неотразимое впечатлѣніе,—но его крупнѣйшимъ недостаткомъ: низостью и сальностью его произведеній. Это можно подтвердить самымъ правильнымъ методомъ: числовымъ. Посмотримъ на данныя о распространеніи его романовъ, указанные въ предисловіи къ 96-й тысячѣ романа „Дурдъ“, вышедшаго въ 1894 году. Разошлись „La Débâcle“ 182 тысячи экземпляровъ, „Nana“ 171 тысяча, „L'Assommoir“ 132 тысячи, „La Terre“ 107 тысячъ, „Germinal“ и „La Réve“—около 94 тысячъ, „La Bête humaine“ 88 тысячъ, „Pot-Bouille“ 85 тысячъ, а такія произведенія, какъ „L'Ouvre“ 55 тысячъ, „La Joie de vivre“ 48 тысячъ, „La Curée“ 40 тысячъ, „La Conquête de Plassans“ 29 тысячъ, а „Contes de Ninon“ не разошлось даже въ 2-хъ тысячахъ экземпляровъ. Такимъ образомъ, самое широкое распространеніе получили именно тѣ романы, въ которыхъ развратъ и животная страсть изображены наиболѣе ярко, и количество разошедшихся экземпляровъ съ математической точностью понижается по мѣрѣ того, какъ уменьшается слой грязи, набросанный Зола въ своихъ романахъ, и чѣмъ менѣе онъ становится зловоннымъ. Три романа какъ будто являются исключеніемъ изъ этого общаго правила: „La Débâcle“, „Germinal“ и „Le Réve“. Высокое мѣсто, занимаемое ими по количеству распространенныхъ экземпляровъ, объясняется тѣмъ, что первый посвященъ войнѣ 1870 года, второй—соціализму, а третий—мистицизму. Эти три произведенія Зола соответвуютъ духу времени; это дань моднымъ теченіямъ. Счастливый успѣхъ всѣхъ другихъ его произведеній основывается исключительно на потворствѣ скотскимъ наклонностямъ толпы, на ея животной любви къ виду преступленій и сладострастія.

Зола необходимо долженъ былъ создать школу уже въ силу широкаго сбыта своихъ произведеній, который гонитъ въ его теченіе массу литературныхъ авантюристовъ и подражателей, а затѣмъ и вслѣдствіе легкости подражанія его главнѣйшимъ особенностямъ. Его эстетика доступна всякому карманному воршикѣ, который литературными произведеніями своей грязной руки мараетъ доброе имя литературы. Ни для кого не трудны ничего не говорящія, чисто механическія перечисленія ничего не значущихъ предметовъ, подъ предлогомъ описанія. Всякій лакей можетъ говорить сальности и ругаться. Незначительное затрудненіе могъ бы представить выборъ фабулы, основной канвы произведенія; но Зола, у котораго нѣтъ особеннаго таланта для изобрѣтенія

фабуль, гордится своимъ недостаткомъ, какъ особымъ достоинствомъ, и выставляетъ такой художественный принципъ: художникъ ничего не долженъ рассказывать отъ себя. И это правило искусства приходится, какъ нельзя болѣе, на руку всюду его сопровождающимъ навознымъ жукамъ, ибо ихъ неспособность становится для нихъ блестящимъ достоинствомъ. Они ничего не знаютъ, ничего не могутъ создать, и поэтому относятся ко всему „современному“, какъ они выражаются, съ особымъ пристрастіемъ. Въ ихъ, такъ называемыхъ, „романахъ“ совершенно нѣтъ ни лицъ, ни характеровъ, ни положеній, ни завязки, ни развязки, но вотъ это то и составляетъ ихъ главную заслугу,—и вы, которые не хотите этого понять, вы жалкіе филлистеры!

Справедливость требуетъ, однако, чтобы мы различали въ послѣдователяхъ Зола двѣ группы. Одна цѣлѣе въ немъ главнымъ образомъ его пессимизмъ и безъ всякаго энтузіазма, а часто даже съ замѣтнымъ отвращеніемъ и тайнымъ недобреніемъ, смотреть на его порнографію. Эта группа состоитъ изъ истеричныхъ и вырождающихся людей, которые вѣрують въ его талантъ, такъ какъ вслѣдствіе своего органическаго состоянія они, дѣйствительно, настроены пессимистически и въ художественныхъ сторонахъ произведеній Зола находятъ откликъ своимъ чувствамъ. Къ этой группѣ я отношу нѣкоторыхъ драматурговъ Парижской „свободной сцены“ и итальянскихъ „веристовъ“. Натуралистическій театръ самый неправдоподобный изъ всѣхъ до сихъ поръ выданныхъ, болѣе неправдоподобенъ даже, чѣмъ оперетка и феерія. Въ пьесахъ этого театра употребляются обыкновенно такъ называемыя жестокія слова, т. е. такія фразы, которыми дѣйствующія лица выражаютъ самыя скверныя, преступныя и подлыя мысли и чувства, зарождающіяся въ ихъ сознаніи. При этомъ совершенно игнорируется важный и основной фактъ, что самыми распространенными и самыми упорными свойствами человѣка является лицемеріе и притворство, что нравы поразительно долго переживаютъ нравственность, и что человѣкъ бываетъ тѣмъ благороднѣе въ своихъ поступкахъ и тѣмъ поразительнѣе скрываетъ свою низость, чѣмъ подлѣе и преступнѣе его стремленія. Веристы, между которыми встрѣчаются писатели, обладающіе крупнымъ талантомъ, представляютъ собой самое выразительное и самое печальное явленіе въ современной литературѣ. Можно еще понять пессимизмъ въ поражаемой ударами судьбы Франціи, въ покрытыхъ сѣрыми тучами, опустошаемыхъ алкоголизмомъ и угнетаемыхъ мелочностью буржуазной жизни странахъ сѣвера. Эротизмъ тоже понятенъ во Франціи, какъ слѣдствіе истощенности и переутомленія французскаго народа, а въ Норвегіи, какъ выходящій далеко за предѣлы поставленной цѣли протестъ противъ мертвящей дисциплины и суроваго насилія, лишеннаго радостей и убивающаго плоть церковнаго аскетизма. Но какимъ образомъ подъ сіяющимъ солнцемъ и вѣчно голубымъ небомъ Італіи, среди красиваго, веселаго, даже въ разговорѣ поющаго народа, могъ возникнуть систематическій пессимизмъ (отдѣльные больные, какъ Леонарди могутъ быть признаны за исключеніе), и какимъ образомъ итальянцы дошли до психоло-

гическаго сладострастія въ то время, какъ въ ихъ странѣ еще сохранилась память о здоровой и безвредной чувственности классическаго міра съ его символическими картинами плодородія въ храмахъ и на поляхъ, и когда тамъ въ теченіе столѣтій естественная жизнь удержала за собою право наивно, непосредственно выражаться въ искусствѣ и литературѣ? Если веризмъ не представляетъ изъ себя ничего другого, кромѣ примѣра распространенія умственной болѣзни черезъ подражаніе, то на научной итальянской критикѣ лежитъ задача объяснить этотъ культурно-историческій парадоксъ.

Другая группа послѣдователей Зола состоитъ не изъ вышнихъ выраждающихся, не изъ больныхъ, добросовѣстно представляющихъ свои чувства и часто талантливо ихъ описывающихъ, но изъ людей такого рода, которые по всей нравственной чистотѣ не стоятъ выше сутенеровъ и только вмѣсто обычнаго ремесла этихъ починныхъ птицъ изобрѣли себѣ менѣе опасное и до сихъ поръ бывшее въ почетѣ положеніе романистовъ и драматурговъ послѣ того, какъ теорія натурализма сдѣлала это послѣднее для нихъ доступнымъ. Эти отбросы заимствовали у Зола исключительно порнографію и соответственно своему умственному развитію довели ее до послѣдней ступени низости. Къ этой группѣ относятся парижскіе профессиональные порнографы, доставляющіе своими ежедневными и еженедѣльными изданіями, своими рассказами и картинами, своими театральными пьесами массу дѣла полиціи нравовъ; сюда же относятся норвежскіе сочинители скандальныхъ романовъ и, къ сожалѣнію, даже часть нашихъ реалистовъ „молодой Германіи“. Эта группа ничего общаго съ литературой не имѣетъ. Она формируется изъ тѣхъ отбросовъ большихъ городовъ, которые вълѣдствіе своего нежеланія трудиться и страсти къ наживѣ сдѣлали ремесломъ распутство, выбирая его воплѣ сознательно, руководясь исключительно нежеланіемъ работать и страстью къ наживѣ. Они подлежатъ вѣденію не психіатрицъ, а уголовного суда.

## Подражатели „молодой Германіи“.

Эта глава, собственно говоря, выходит за предѣлы сочиненія. Не нужно забывать, что моею цѣлью вовсе не было написать исторію литературы и, тѣмъ болѣе, не давать эстетической критики; я хотѣлъ только изслѣдовать психическое недомоганье вожаковъ современной литературы. Поэтому моею задачею является заняться только тѣми изъ вырождающихся или слабоумныхъ, произведенія которыхъ были продуктами ихъ собственной ненормальности, выраженной въ своеобразныхъ литературныхъ формахъ, т. е. тѣми вождями, которые идутъ своею дорогою, какъ они хотятъ и могутъ. Простыхъ подражателей я оставляю въ сторонѣ въ своей работѣ, во первыхъ, потому, что среди нихъ дѣйствительно вырождающіеся составляютъ крайне незначительную часть въ то время, какъ большинство состоитъ изъ завѣдомыхъ обманщиковъ и лизоблюдовъ, и во-вторыхъ, потому, что и рѣдкіе дѣйствительно болѣзненные среди нихъ принадлежатъ не къ „высшимъ“ вырождающимся, а являются бѣдными слабоумными, обладающими лишь маленькимъ смысломъ, и заслуживающими упоминанія лишь постольку, поскольку въ нихъ выразилось вліяніе ихъ учителей.

Если я, несмотря на это, посвящаю отдѣльную главу такъ называемымъ реалистамъ „молодой Германіи“ въ то время, какъ объ итальянскихъ и скандинавскихъ ученикахъ Зола сказалъ лишь нѣсколько словъ, то это происходитъ вовсе не потому, что лишь нѣсколько словъ, то это происходитъ вовсе не потому, что первые значительнѣе послѣднихъ. Наоборотъ, нѣкоторые итальянскіе „веристы“, датчанинъ I. П. Якобсенъ, норвежецъ Арне Гарборгъ, шведъ А. Стриндбергъ, выказавшіе кромѣ того нѣкоторую долю самостоятельности, имѣютъ, въ одномъ своемъ пальцѣ несравненно болѣе мысли и мощи, чѣмъ вся „молодая Германія“, взятая вмѣстѣ. Я останавливаюсь на нихъ только потому, что исторія распространенія умственной заразы въ своей собственной странѣ имѣетъ нѣкоторое значеніе для нѣмецкихъ читателей; затѣмъ потому, что возникновеніе и исторія этой группы рисуется періоды, въ которыхъ мы можемъ пасть неврастенію нашего времени, и, наконецъ, потому, что отдѣльные изъ ея членовъ являются примѣрами сильно развитой истеріи; у нихъ,

несмотря на совершенное отсутствие таланта и умственную слабость, весьма развиты то злобное и противуобщественное самолюбие, та нравственная тупость, тѣ непреоборимыя стремленія, то забавное тщеславіе и влюбленность въ самого себя, которыя являются характерными признаками этой болѣзни.

Не скрою, въ то время, какъ я обращаю свой взоръ на движеніе „молодой Германіи“, мнѣ трудно сохранить то спокойствіе, съ которымъ я разсматривалъ до сихъ поръ литературныя явленія съ научной точки зрѣнія. Какъ нѣмецкій писатель, я неспытываю глубокой и болѣзненной стыдъ, видя, какъ эти писатели все, имѣвшее знакъ ихъ штемпеля, такъ долго и такъ сильно расхваливали, какъ самостоятельную, единственную, исключительно нѣмецкую литературу настоящаго времени—и даже будущаго!—пока большая часть нѣмецкой публики и даже рычащіе отъ злобной радости заграничныя читатели не нашли ему настоящаго мѣста <sup>1)</sup>.

Со времени Веймаровскаго періода геніевъ нѣмецкая литература шла впереди всѣхъ другихъ литературъ бѣлаго человечества. Мы находили новые пути, остальные народы шли за нами. Мы заботились о стихотворныхъ формахъ и мысляхъ для всего міра. Романтизмъ впервые появился у насъ, и только черезъ нѣсколько десятилѣтій сначала во Франціи, а посредствомъ ея и въ Англіи, сталъ литературной модой. Герре, Захарія Вернеръ, Новалисъ, Оскаръ ф. Редвингъ выдвинули у насъ на первый планъ лирической мистицизмъ и нео-католицизмъ, до котораго Франція дошла лишь теперь. Наши предъ-мартовскіе поэты: Карлъ Бекъ, Георгъ Гервегъ, Фрейлигратъ, Людвигъ Зеегеръ, Фридрихъ ф. Салле, Р. Ж. Прудъ и т. п. воспѣвали уже нищету, страданія и надежды угнетенныхъ прежде, чѣмъ родились Уатъ Уитманъ, Моррисъ, Джунъ, которыхъ въ Америкѣ, Англіи и Франціи считаютъ теперь отцами лирическихъ пѣсенъ четвертаго сословія. Точно также пессимизмъ почти въ продолженіе жизни бѣлаго поколѣнія одновременно нарождается въ Италіи въ лицѣ Леонарди, и у насъ въ лицѣ Николая Ленау, прежде чѣмъ французскій натурализмъ началъ строить на немъ свое искусство. Символистическое творчество Гете во второй части своего „Фауста“ выдвинули на полстолѣтія раньше, чѣмъ Ибсенъ и французскіе

<sup>1)</sup> „Le Temps“ 13 февраля 1892 года: „Литература въ Германіи странно обѣднѣла. Въ году въ годъ тамъ трудно найти романъ, драму, страницку критики, которые стоило бы отмѣтить. Нѣмецкая критика сама указала на это безъ колебаній. Не только не хватаетъ духа и стили, но все бездушно, бѣдно и плоско. Можно подумать, что находишься во Франціи во время Вульи... Кажется, даже есть опасеніе подняться выше опредѣленнаго писательскаго уровня. Въ концѣ концовъ, современныхъ нѣмецкихъ писателей нужно благодарить ужъ за то, если у нихъ... можно найти самое слабое стремленіе... писать не больше, чѣмъ писать подметальщикъ улицы.“ Что этотъ приговоръ является приговоромъ злобствующаго врага, замѣтитъ всякій нѣмецъ, просмотрѣвшій современную литературу. Но этотъ приговоръ выясняется и получаетъ свое оправданіе въ томъ, что въ настоящее время только „реалисты“ дѣлають достаточно много шума, чтобы быть услышанными заграницей и что поэтому то ихъ тамъ такъ легко и принимаютъ за всю современную литературу Германіи.



символисты начали пародировать это направление. Всякое здоровое и нездоровое теченіе въ современномъ искусствѣ можетъ найти свой источникъ въ Германіи, всякій шагъ впередъ и всякая ошибка на этомъ поприщѣ имѣетъ свое начало въ Германіи. да и всякая философская система, какъ правильная, такъ неправильная, занимавшая человѣчество въ теченіе столѣтій, зародилась въ Германіи. Отъ Фихте беретъ свое начало романтизмъ, отъ Фейербаха (почти одновременно съ малоизвѣстнымъ тогда Контомъ.)—механическое міропониманіе, отъ Шопенгауэра—пессимизмъ, отъ учениковъ Гегеля, Штирнера и Маркса, самый сильный эготизмъ отъ перваго и не менѣе сильный коллективизмъ отъ второго и т. д. И вотъ теперь мы терпимъ униженіе влѣдствіе того, что кучкѣ заброшенныхъ писаній, представляющихъ самое негодное, скверное, и фальшивое подражаніе французскому литературному хламу, удивляются лучшіе умы Франціи, выставляя ее, какъ самое „современное“, что приносить Германія, въ то время, какъ цвѣты нѣмецкой литературы съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе унижаются. Мы должны теперь довольствоваться слѣдующими словами иностранныхъ критиковъ: старая моды, неимѣющія уже успѣха даже въ глухихъ деревушкахъ Франціи, въ Германіи выставляются въ витринахъ, какъ самыя новыя, и публика вѣритъ этому. Самыя реалисты не считаютъ себя подражателями и притомъ далеко отставшими<sup>1)</sup>). Но тотъ, кто понимаетъ и знаетъ искусство больше, чѣмъ можно узнать въ реалистическомъ трактирѣ или въ грязныхъ уличныхъ листкахъ этого общества, кто охватываетъ современное движеніе умовъ во всей его полнотѣ, не ограничиваясь предѣлами своей родины, тому ясно, что нѣмецкій реализмъ, какъ мѣстное явленіе, имѣетъ и въ Германіи печальное значеніе, но ко всемірной литературѣ ужъ вовсе не можетъ принадлежать, потому что въ немъ отсутствуетъ всякій признакъ личной или національной самостоятельности, и къ общему хору, въ которомъ голоса человѣчества выражаютъ свои чувства и мысли, онъ не можетъ прибавить ни единой, даже самой слабой, новой нотки.

Подражатели, такъ низко стоящіе, какъ нѣмецкіе реалисты, вовсе не заслуживаютъ того, чтобы разсматривать ихъ каждого въ отдѣльности. Этимъ можно было бы вызвать только улыбку у серьезныхъ изслѣдователей и сдѣлать себя соучастникомъ тѣхъ, которые равнодушно относятся къ похваламъ или порицанію, лишь

<sup>1)</sup> Арно Гольцъ—Johannes Schlaf, Die Familie Selike. Dritte Auflage. Berlin, 1892. S. VI. „Ничто не можетъ заставить насъ больше смѣяться... чѣмъ то, когда насъ выставляютъ, въ силу собственной слабости и въ силу шаблона, лишь подражателями великихъ иностранцевъ... Тѣмъ не менѣе, пусть они знаютъ: никогда еще въ нашей германской литературѣ не было движенія, которое такъ мало зависѣло бы отъ иностраннаго, которое выросло бы изъ самаго существа нашей страны, которое было бы, однимъ словомъ, такъ национально, чѣмъ то, при дальнѣйшемъ развитіи котораго мы теперь присутствуемъ, и которое получило свое первое выраженіе въ нашемъ „Рара Hamlet“. „Familie Selike“—самое нѣмецкое произведеніе, которое когда либо видѣла наша литература“. Это мѣсто можетъ служить для читателя образцомъ и стили, которымъ пишутъ эти господа, и тона, которымъ они говорятъ о себѣ и своихъ произведеніяхъ.

бы только называли ихъ имена. И еще нѣкоторыя соображенія дѣлають меня осторожнымъ въ выборѣ примѣровъ, которые я намѣренъ предложить читателю. Я твердо убѣжденъ, что черезъ нѣсколько лѣтъ все движеніе будетъ забыто вплоть до своего имени. Господа, теперь мнѣшіе себя будущимъ Германіи, очень скоро придуть къ убѣжденію, что ремесло, за которое они взялись, не такъ пріятно, и не такъ выгодно, какъ они думали <sup>1)</sup>. Тѣ изъ нихъ, у которыхъ хоть что нибудь осталось отъ здоровья и силы, найдуть дорогу, соотвѣтственную ихъ истиннымъ стремленіямъ, и сдѣлаются или лакеями, или просто слугами, ночными сторожами или разнощиками <sup>2)</sup>, и я боюсь, что въ ихъ новомъ ремеслѣ имъ будетъ сильно вредить, если память объ ихъ прежнихъ ошибкахъ, о которыхъ никто изъ нихъ никогда самъ не будетъ вспоминать, тамъ прочно утвердится. Болѣе слабые и лѣнивые изъ нихъ, оказавшіеся неспособными и къ этому, найдуть себѣ средства къ жизни менѣе тяжелымъ ремесломъ: они станутъ пьяницами, бродягами, нищими, пожалуй, даже обитателями тюремъ, и когда серьезный читатель черезъ нѣсколько лѣтъ увидитъ ихъ имена въ этой книгѣ, то онъ въ правѣ будетъ воскликнуть: „Что это за скверная шутка? Въ чемъ авторъ хочетъ меня увѣрить? Такихъ людей, вѣдь, вовсе никогда не было“. Наконецъ, такой слабый писака вовсе и не имѣетъ никакого значенія самъ по себѣ, а получаетъ его только, какъ часть чего нибудь цѣлаго. Къ нему нельзя, слѣдовательно, относиться критически; онъ заслуживаетъ лишь статистическаго отношенія. По всѣмъ этимъ причинамъ я изъ всего хлама буду выбирать лишь отдѣльныхъ лицъ и отдѣльныя произведенія, чтобы показать на ихъ примѣрѣ, что въ дѣйствительности представляетъ изъ себя нѣмецкій „реализмъ“.

Основателемъ нѣмецкаго реализма является Карлъ Блейбтрей. Основаніе заключалось въ томъ, что онъ выпустилъ въ свѣтъ брошюру, въ которой самымъ важнымъ была ея ярко-красная обложка съ намалеванными черными молніями и бьющее въ глаза заглавіе: „Революція въ литературѣ“. Въ этомъ рекламномъ сочиненіи Блейбтрей съ величайшимъ самоувѣреніемъ и безъ малѣйшей попытки обосновать свои взгляды объявилъ цѣлый рядъ уважаемыхъ и имѣвшихъ успѣхъ писателей дурными, клянется полнъ пріятной, что они уже умерли и что теперь начинается но-

<sup>1)</sup> Писатели „молодой Германіи“ все чаще и чаще возвращаются къ вопросу о недостаткѣ денежныхъ средствъ. „У тебя сегодня опять нечего было вѣсть.—За то каждый уличный бродяга наѣлся до-сыта“. „Страхъ передъ осужденіемъ на адскія муки—это розы подъ ласками весны. Я думаю о томъ, какъ гнететъ душу и сердце ежечасная дума о нуждѣ и деньгахъ“. Детлефъ Фрайгеръ фонъ-Лилленкорнъ: „Царить металлъ, царить золото,—а гений долженъ итти побираться“. „Назвать бочку золота своей—вотъ высшая цѣль человѣка“. Карлъ Блейбтрей и т. д.

<sup>2)</sup> Это и нѣкоторыя другія мѣста книги оправдались, какъ пророчество. Правда, пока не среди нѣмецкихъ, но среди ихъ предшественниковъ французскихъ „молодыхъ“, произошелъ случай, когда одинъ изъ нихъ, достигнувъ, наконецъ, правильнаго самопониманія, бросилъ литературу, какъ бесполезную трату времени, и занялся болѣе серьезнымъ и благодарнымъ ремесломъ заплатачка. Малый такъ остроумно поступившій, былъ Жакъ Торренъ; онъ до весны 1896 года, когда открылъ въ Парижѣ свою лавочку, выпустилъ томикъ стиховъ, театральную пьесу и романъ.

вая эра въ литературѣ, которая насчитываетъ за собою уже нѣсколько геніевъ, приче́мъ онъ, Блейбтрей, стоитъ во главѣ ихъ.

О Карлѣ Блейбтрей, какъ писателѣ, немного можно сказать; но было бы несправедливо обойти молчаніемъ его великія способности какъ ловкаго дѣльца. Съ этой точки зрѣнія его „Революція въ литературѣ“ является блестящей по своему исполненію. Съ предусмотрительностью, наряду съ извѣстными писателями, въ произведеніяхъ которыхъ онъ не оставляетъ камня на камнѣ. Блейбтрей беретъ и нѣкоторыхъ неважныхъ модныхъ писакъ, выступать противъ которыхъ съ такимъ тяжелымъ орудіемъ вовсе нѣтъ надобности, но которыхъ никто не бралъ подъ свою защиту, вслѣдствіе добродушнаго къ нимъ пренебреженія; заключеніе такихъ писателей въ группу, которую онъ старался выкинуть изъ литературы, должно было поднять въ глазахъ невнимательнаго читателя его умственные дарованія. Не менѣе умно были выбраны и тѣ писатели, которыхъ онъ представлялъ читателямъ въ качествѣ новыхъ геніевъ. За исключеніемъ двухъ или трехъ приличныхъ посредственностей, для которыхъ въ литературѣ большого народа всегда найдется мѣстечко, это были совершенные нули, со стороны которыхъ ему вовсе нечего было опасаться конкуренціи. Самымъ гениальнымъ былъ у него, напри́мѣръ, Максъ Кретцеръ, съ тѣхъ поръ выгодно выдвинувшійся впередъ, но въ то время (1886 г.) извѣстный, только благодаря сознанію „берлинскимъ“ романами, среди которыхъ особою популярностью пользовался „Die Verkommenen“: въ этомъ романѣ было весьма мало „берлинскаго“; это ничто иное, какъ описаніе исторіи вдовы Грасъ и рабочаго Годри, имѣвшей мѣсто въ Парижѣ въ 1877 году. Это происшествіе, представляющее рядъ похожденій кокотки, въ которыхъ играетъ роль сѣрная кислота, могло разыграться только во Парижѣ, только въ условіяхъ парижской жизни. Оно специфически парижское. Но Кретцеръ спокойно уничтожилъ парижскія названія, помѣтилъ его „Берлиномъ“ и написалъ такимъ образомъ „Берлинскій романъ“, который Блейбтрей со своей стороны окрестилъ „истиннымъ“ и „правдоподобнымъ“ произведеніемъ. Своихъ вновь открытыхъ „геніевъ“, сильно напоминающихъ собою Фальстафовскихъ рекрутовъ Шиммлиха, Шатте, Варне, Швехлиха и Булькальба, онъ нарядилъ въ костюмы, которые тоже должны сильно дѣйствовать на читателя. Онъ придалъ имъ видъ Шиллеровскихъ разбойниковъ изъ Богемскихъ лѣсовъ, выдавалъ ихъ за отрядъ повстанцевъ, за борцовъ на баррикадахъ, за Люцовскихъ егерей въ освободительной борьбѣ противъ лицемѣрія, париковъ, косъ и всякаго рода темныхъ силъ и надѣялся, что юношество и друзья прогресса будутъ считать правильнымъ, если онъ станетъ во главѣ, такимъ образомъ наряженныхъ, увѣчныхъ и хромыхъ.

Но его спекуляція лишь отчасти достигла своей цѣли, не смотря на то, что была хорошо задумана и рассчитана. Едва онъ успѣлъ составить свою группу, какъ она уже возмутилась противъ него и прогнала его. Новаго вождя отрядъ, однако, не выбралъ, такъ какъ всякій членъ хотѣлъ быть главою и только очень слабые и покорные въ этомъ отрядѣ признавали кромѣ

себя еще когонибудь гениемъ. Блейбтрей и до сихъ поръ не примирился еще съ неблагодарностью людей, принявшихъ его шутку въ серьезъ и на самомъ дѣлѣ воображавшихъ себя гениями; онъ выливаетъ свою душевную боль въ новомъ произведеніи („Изъ лирическаго дневника“) слѣдующими горькими словами: „Зачѣмъ долгая борьба? Напрасно!—И у меня устала рука.—Да здравствуетъ ложь, глупость, тупоуміе! Прощай, нѣмецкое свинство!—Могильная земля потушитъ жаръ.—Я былъ, сколько я себя помню, истиннымъ глупцомъ.—Я никогда не былъ нѣмецкимъ честнымъ человѣкомъ —я былъ дивнымъ лебедемъ“.

Блейбтрей не могъ передать особыхъ способностей изобрѣтеннымъ имъ реалистамъ, но они за то переняли у него его коммерческую ловкость. Для того, чтобы произвести большее впечатлѣніе на незнающихъ, они присоединили къ себѣ въ качествѣ почетныхъ членовъ нѣсколько выдающихся писателей, имена которыхъ съ величайшимъ изумленіемъ приходится встрѣчать въ этой галлерей. Такъ, напримѣръ, реалисты считаютъ „своимъ“ Теодора Фонтана, истиннаго поэта, романы котораго стоятъ рядомъ съ лучшими, появившимися за послѣднее время въ общеевропейской литературѣ, произведеніями; Г. Гейберга, сильный, хотя и не такой выдающійся талантъ, который вынужденъ, къ сожалѣнію, вслѣдствіе вѣнскихъ причинъ, слишкомъ много и срочно работать, противъ чего, можетъ быть, бесплодно протестуетъ его художественное дарованіе; присоединили они къ себѣ и Деглева фонъ-Лиліенкорна, который, правда, не является талантомъ, но какъ лирикъ средней руки заслуживаетъ вниманія и можетъ быть поставленъ на ряду съ эпигонами-писателями—Гопфеномъ, Линггомъ, Грейфомъ. При томъ высокомъ состояніи лирики въ Германіи, которое она, по признанію самихъ иностранцевъ, первая во всемъ свѣтѣ непрерывно сохраняла со времени Гете, указаніе писателю на то, что онъ не пошелъ назадъ въ сравненіи съ послѣднимъ семидесятилѣтіемъ, служить для него большой похвалой. Но Лиліенкорнъ не поднялся выше этого средняго уровня, и я непонимаю, какъ можно его хоть сколько нибудь противопоставить Р. Баумбаху, къ которому реалисты питаютъ презрѣніе, вѣроятно, потому, что онъ побрезгалъ присоединиться къ ихъ стаду. Не удивительно, что общество реалистовъ нравится Фонтану и Гейбергу. Въ церковные служители, вся обязанность которыхъ заключается въ размахиваніи кадильницей, иногда принимаются просто уличные мальчишки. И вся эта приписка къ лагерю реалистовъ *honoris causa* со стороны названныхъ писателей является результатомъ молчаливой и добродушной терпимости къ выставленію напоказъ своего добраго имени. Только одинъ Лиліенкорнъ счелъ своимъ долгомъ сдѣлать уступки новымъ товарищамъ и въ своихъ новыхъ стихотвореніяхъ заговорилъ не своимъ, а ихъ языкомъ. Напримѣръ,—„Что случилось въ замкѣ? его владѣлецъ лежитъ при смерти“. „Терзай ты, черная боль“... „.....онъ знаетъ, что его лошади слушаются его безъ крика и кнута, что они ничего не боятся, что они славные малые“.

„Huch (!!)" „Что это такое?“ „И мы чувствуемъ себя ягнятами—потому что мы себя опозорили,—ужасно, ужасно опозорили“ и

т. д. На паденіи Лиліенкорна мы видимъ, что вовсе не такъ безопасно принимать безпрекословно нежелательную рекламу сомнительныхъ товарищей. Да и по слабости человѣческой часто нравятся даже грубыя похвалы и восхищенія.

Кромѣ включенія въ свои ряды нѣсколькихъ хорошихъ именъ реалисты заботливо использовали до конца и другой коммерческій пріемъ Блейбтрея: сильно дѣйствующую внѣшность. Они прежде всего (въ своемъ лирическомъ сборникѣ „Молодая Германія“ Фриденау и Лейпцигъ, 1886) дали себѣ имя „Молодая Германія“, которое напоминаетъ о великихъ новаторахъ 1830 года и съ которымъ связывается представленіе о цвѣтущей молодости и веснѣ, а затѣмъ налѣпили себѣ фальшивый носъ современности. Къ этой претензіи на современность я вернусь еще разъ. Здѣсь я только замѣчу, что реалисты, подражатели до мозга костей, не имѣли даже такой малой доли самостоятельности, чтобы придумать себѣ свое имя, а по простоту спокойно списали названіе, подъ которымъ стала знаменитой группа Гейне, Берне и Гутцкова.

Какъ на первый пробный камень, „реалистической“ литературы „Молодой Германіи“ я укажу на романъ „Въ чарахъ любви“ Гейнца Товота <sup>1)</sup>. Въ немъ описывается исторія состоятельнаго отставного офицера Герберта фонъ Дюрена, который знакомится съ Люціей, бывшей кельнершей и любовницей цѣлаго ряда молодыхъ людей, вступаетъ съ ней въ продолжительную связь, результатомъ которой у него, наконецъ, является рѣшеніе жениться, такъ какъ онъ уже не можетъ жить безъ Люціи. Гербертъ, лишь отчасти знающій прошлое Люціи, представляетъ ее своей матери; та быстро догадывается о связи сына съ представленной ей особой, даетъ свое согласіе и бракъ заключается. Въ берлинскихъ аристократическихъ и офицерскихъ кругахъ, гдѣ нѣкоторое время вращается эта парочка, прошлое Люціи быстро всплываетъ наружу, и она оказывается моментально „отрѣзанной“ отъ всякаго общества. Однако Гербертъ остается ей вѣренъ до тѣхъ поръ, пока случайно у одного художника, конечно, „реалиста“, ставшаго его другомъ, не находитъ картины съ изображеніемъ Люціи въ купальномъ костюмѣ. Гербертъ естественно заключаетъ, что Люція служила художнику моделью, и прогоняетъ ее. На самомъ дѣлѣ оказалось однако, что художникъ-реалистъ написалъ голое тѣло по своей фантазіи и, проникнутый тайнымъ благоговѣйнымъ восхищеніемъ къ Люціи, незамѣтно для самого себя придалъ изображенію ея черты. И вотъ Гербертъ начинаетъ энергично искать исчезнувшую Люцію и, наконецъ, послѣ ужасныхъ усилій, находитъ ее въ своемъ собственномъ имѣніи, гдѣ она живетъ, безъ его вѣдома, цѣлые мѣсяцы. Примиреніе супруговъ выходитъ крайне трогательнымъ, и Люція умираетъ при прочувствованныхъ рѣчахъ, давши жизнь ребенку.

О нелѣпости всей этой исторіи я не буду говорить ни слова. Но существенной частью романа является не только фабула, но

<sup>1)</sup> Heinz Tövöte „Im Liebesrausch“ Berliner Roman. Sechste Auflage. Berlin, 1893.

и его форма въ узкомъ и широкомъ смыслѣ слова: рѣчь, стиль, настроеніе,—и все это нуждается въ болѣе подробномъ разсмотрѣніи.

Самое первое требованіе, предъявляемое къ писателю, выступающему передъ широкой публикой, а, слѣдовательно, передъ образованной частью своего народа, естественно заключается въ томъ, чтобы онъ хорошо зналъ родной языкъ. О языкѣ Товота могутъ дать представленіе слѣдующіе образчики: „Въ ресторанѣ бѣгали туда и сюда лакеи... и разносили хлѣбы“. „Рѣдко, чтобы въ большомъ городѣ кто нибудь смотрѣлъ на даму, какъ ему только одному принадлежащую“. „Я пріобыкъ къ этому...“. „Два раза она открывала ложную комнату“. (Онъ хочетъ сказать: „Не ту, которую нужно было“). „Собака ласково била хвостомъ“ и черезъ три строчки дальше: „У него билось сердце при воспоминаніяхъ“. (Если онъ замѣняетъ одно выраженіе другимъ, то онъ, по крайней мѣрѣ, долженъ быть бы сказать—„У него виляло сердце при воспоминаніяхъ“). „Она лежала каждую ночь (allnächtig)“ (вмѣсто „всю ночь“). „Онъ сильно сжалъ мякнши рукъ“. (Единственный „мякншъ“, который нѣмецкій языкъ знаетъ на ладони,—мякншъ подъ большимъ пальцемъ. О мякншахъ рукъ ни одинъ нѣмецъ никогда ничего не слыхалъ). „Онъ шелъ Постдамскую улицу вдоль“. „Темныя мебели“. „Складки, которыя тѣсно охватывали колѣни и подножія“. (Онъ хотѣлъ сказать голени). „Люція вновь получила свою свѣжую краску“. (Это курьезное смѣшеніе понятій „получать“ и „пріобрѣтать“ часто встрѣчается у необразованныхъ людей, которые хотятъ выразиться поприятнѣе и для которыхъ получаютъ обычнѣе). „Часто изъ окрестностей совершались маленькія поѣздки на сюда“. „Которая въ игрѣ не брала части“. „Она хотѣла оужчиниться“. (Интересно было бы знать, что прежде всего начинаетъ дѣлать женщина, чтобы „оужчиниться“). „Она обладала такимъ тактомъ, что является вѣрнымъ признакомъ благородства“.

Нѣкоторыя изъ этихъ возмутительныхъ ошибокъ довольно распространены (какъ, напримѣръ, „nach hier“ вмѣсто „hierher“), другія принадлежатъ безтолковой болтовнѣ самыхъ низшихъ классовъ народа (какъ, напримѣръ, „Bröte“ вмѣсто „Brote“, „Möbeln“, вмѣсто „Möbel“, „lang“ вмѣсто „entlang“), но нѣкоторыя Товотъ никогда не слыхалъ, онѣ являются результатомъ его полного незнанія нѣмецкой грамматики.

Перейдемъ теперь къ его стилю. Когда Товотъ описываетъ, то для того, чтобы придать силу своимъ выраженіямъ, онъ нарочно для даннаго слова выбираетъ такое опредѣленіе, которое по существу своему непременно заключается уже въ опредѣляемомъ. Вотъ примѣры этой невыносимой тавтологіи. „По Фридрихштрассе двигались легкіе, элегантные экипажи“. „Воплощеніе пріятной прелести“. „Медленно ползущая лихорадка“. „Вялая сонливость“. „Въ послѣднемъ свѣтѣ съ блескомъ блестяли“. „Она испытывала мучительныя мученія“ и т. д. Я сомнѣваюсь, что писатель, имѣющій хоть какое нибудь уваженіе къ себѣ, къ своему призванію, къ читателю, къ родному языку, будетъ отдѣ-

лять подобныя слова другъ отъ друга. Въ погонѣ за „рѣдкими и цѣнными опредѣленіями“ вовсе не нужно заходить такъ далеко, какъ французскіе стилисты, но такой наборъ совершенно ненужныхъ, ничего не выражающихъ, опредѣленій—это уже не писательство, но, слѣдую выраженію французскихъ критиковъ, на самомъ дѣлѣ, работа разносчиковъ. Другой недостатокъ его стиля—это крайняя безтолковость. Товотъ рассказываетъ, что Гербертъ Дюрень былъ „сильно заинтересованъ опереткой „Микадо“ уже при первомъ ея представленіи. Когда же она была переведена съ англійскаго языка, то она показалась Дюреню еще болѣе близкой, родной“. Слѣдовательно, Товотъ утверждаетъ вполне серьезно, что англійская оперетка на нѣмецкомъ языкѣ кажется болѣе отечественной нѣмцу, чѣмъ на англійскомъ! „Онъ внезапно почувствовалъ такой приливъ ярости по отношенію къ этому человѣку, такъ вѣжливо поклонившемуся ему, что, несмотря на то, что обыкновенно корректно раскланивался съ каждымъ, онъ, не отвѣтивъ на поклонъ, отвернулся“. Неотвѣтъ на поклонъ, какъ выраженіе „ярости“, можно считать вѣрнымъ развѣ только у спокойнаго и добродушнаго человѣка, но никакъ не у гордаго офицера. „Лошади повѣсили головы и печально спали“. Это открытіе самого Товота, что спать можно весело и печально.

Когда Товотъ старается писать очень красиво и выразительно, то получаются красоты такого рода: „И все-таки въ тонкихъ, хорошо отшлифованныхъ линіяхъ была внушительная сила“. (Что это такое: „тонкія“, т. е. не шероховатая „линіи“, которыя кромѣ того еще и „отшлифованы“). „Онъ чувствовалъ, какъ ея губы прицѣпились (!) къ его губамъ“. „Ему въ дни его юности нужно было приписать неотъемлемый геній живого воспріятія“. И т. д.

Товотъ старается подражать французскимъ натуралистамъ въ ихъ пространныхъ описаніяхъ, и у него выливаются картины, новизнѣ, выразительности и силѣ которыхъ нужно удивляться. Понятіе о нихъ даетъ слѣдующія мѣста. (Окончаніе представленія въ театрѣ). „Въ партерѣ сидѣнья хлопали, издавая глухіе звуки... Всѣ поднимались, двери то и дѣло открывались, занавѣсь былъ опущенъ, зала медленно пустѣла, и только отдѣльныя лица оставались еще на своихъ мѣстахъ“. „Не переставая всю ночь шелъ снѣгъ, плотными завалами (!) ложился онъ на оголенные вѣтки деревьевъ, которыя могли обломиться въ своемъ зимнемъ безсиліи. Сосны и низкіе кусты были покрыты густымъ слоемъ снѣга. Снѣгъ прилѣплялся къ соломѣ, которой были обвязаны розы, и лѣнился въ причудливыя формы; онъ на высоту локтя лежалъ на стѣнахъ и нѣжно обволакивалъ шпицы желѣзныхъ построекъ. Всѣ неровности были сглажены. Вѣтеръ, гнавшій передъ собой хлопья, забрасывалъ ихъ во всѣ углубленія, такъ что всѣ углы и выпуклости сравнялись“. „Они стояли высоко надъ моремъ, которое, какъ безконечная равнина, разстилалось вокругъ“. „Солнце зашло... Облака, тяжело повисшія на горизонтѣ, сначала окрасились въ пурпурный, затѣмъ въ фіолетовый и, наконецъ, въ безцвѣтный сѣрый цвѣтъ (можно подумать, что есть еще „цвѣтной“ сѣрый цвѣтъ!), а тамъ наступила ночь, которая сгладила

всѣ краски“. (Сравните это жалкое стремленіе поддѣлаться подъ импрессионизмъ съ французскими произведеніями въ предъидущей главѣ). „Ночь совершенно наступила, темная, совершенно черная ночь“. (Нужно удивляться сопоставленію этихъ двухъ эпитетовъ). Только мѣсяцъ печально плылъ надъ водой (мѣсяцъ въ такую „темную“, даже „совершенно черную“, ночь!), и маякъ бросалъ свой свѣтъ въ окрестность. Глубоко подъ ихъ ногами шумѣло море и съ сердитымъ, гремящимъ, тысячеклѣтнымъ (!) ревомъ ласкалось къ разбросаннымъ скаламъ“. „Гремящій“ ревъ, который „ласкаетъ“, вовсе не опасный ревъ“. „Всю жизнь у нея оставалась глубокая рана надъ глазомъ въ видѣ маленькаго шрама“. Если у нея былъ „маленькій шрамъ“, то ужъ глубокая рана не оставалась на „всю жизнь“. „Высоко надъ ними въ голубомъ небѣ кружился коршунъ, описывая круги съ распростертыми крыльями, какъ маленькая черная точка, потерявшаяся въ этомъ морѣ свѣта“. У коршуна, кажущагося только „черной точкой“, ужъ никакъ нельзя различить „распростертыхъ крыльевъ“. Описание одного лица: „Полныя, свѣжія губы, цѣломудренныя, пунцовыя; красивый носикъ, немного вздернутой, но съ правильной ровной линіей ото лба“. Читатель долженъ постараться представить себѣ этотъ „немного вздернутой носикъ“ съ „правильными ровными линіями“. „Скорый поѣздъ тяжело шелъ по совершенно гладкой равнинѣ, которая, какъ выжженная пустыня, разстилалась кругомъ. Направо и налѣво проходили пастбища, плодоносныя нивы и зеленые луга“. Пастбища, плодоносныя нивы и все-таки „выжженная“ (?) „пустыня“ (?) „Полузакрытые глазки съ бѣлыми ложными вѣками такъ нѣжно смотрѣли на него“. Дѣло идетъ здѣсь не о птичьихъ глазахъ, которыя Товотъ, по своему невѣжеству, назвалъ неправильно, а о глазахъ человѣка, въ которыхъ Товотъ открылъ эти непонятныя ложныя вѣки.

Мы видѣли, что вышло въ лапахъ Товота изъ импрессионизма и длинныхъ описаній натуралистовъ. Теперь я хочу показать, какъ этотъ „реалистъ“ воспринимаетъ дѣйствительность и изображаетъ ее, какъ въ мелочахъ, такъ и въ крупныхъ видахъ. Въ первый вечеръ своего знакомства съ Люціей, заказываетъ бутылку бургондскаго. „Кельнеръ... почтительно поклонившись, поставилъ на столъ пузатую бутылку“. Бургондское вино въ „пузатой“ бутылкѣ! Они ѣдятъ супъ, подаваемый въ „серебряныхъ бокалахъ“ (!!), бобы и каплуна, необыкновенныя качества которыхъ составляютъ главный предметъ разговора: послѣ того, какъ ужинъ былъ сѣдены и Люція уже закурила сигаретку, ей вдругъ захотѣлось устриць; устриць подали и она ѣсть, проявляя „удивительное искусство“ въ приготовленіи ихъ. Я, конечно, не поставлю никому въ упрекъ того, что онъ не знаетъ, какова на видъ бутылка съ бургондскимъ виномъ, и когда ѣдятъ во время ужина устриць. Я самъ не выросъ на устрицахъ и бургондскомъ, но я настолько былъ бы честенъ, что не сталъ бы писать объ этихъ предметахъ, не познакомившись съ ними прежде. На этотъ, смѣшанный съ завистью, страхъ предъ труднымъ и пріятнымъ искусствомъ ѣденія устриць, который ясно проглядываетъ изъ „удивитель-



наго искусства“ приготовления ихъ, и на полное отсутствіе всякаго предчувствія новой жизни, наступающей съ этого дня, указываетъ и то, что Товотъ допускаетъ свѣтскаго человѣка длинно и скучно говорить за ужиномъ. Пойдемъ дальше. Возлюбленный Люціи ѣдетъ изъ Брюсселя „черезъ Гавръ и Египеть“. Остается предположить, что у него былъ собственный пароходъ, ибо правильныхъ рейсовъ между Гавромъ и Египтомъ не существуетъ. У Герберта на столѣ лежатъ нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ начатыя рукописи. „Онъ пересматривалъ эту кучу пожелтѣвшихъ монускриптовъ“. Самая негодная бумага изъ древесны и та не можетъ пожелтѣть въ квартирѣ за нѣсколько мѣсяцевъ. Въ утроенной Гербертомъ со всевозможной заботливостью для его Люціи спальнѣ, находятся „голубыя шелковыя зававѣси“ и мебель изъ „розовато-матоваго атласа“. Такого дикаго сопоставленія не допустилъ бы даже самъ хозяинъ магазина, гдѣ приобрѣталась эта мебель.

Я согласенъ, что всѣ вышеприведенные отрывки, хотя и забавны, но все-таки не такъ уже важны. Но ихъ нельзя упускать изъ виду у „реалиста“, который все время твердитъ о „наблюденіи“ и „правдоподобности“. Гораздо серьезнѣе неправдоподобности въ описаніи людскихъ отношеній, поступковъ и жизни. Въ моментъ скорби Люціа „опускаетъ руки на салфетку, лежащую у нея на колѣняхъ, и смотривъ остановившимся взглядомъ прямо передъ собой, слегка закусивъ нижнюю губу“. Дѣлалъ ли когданибудь человѣкъ въ горести такое движеніе или видѣлъ, чтобы его дѣлали? Дикая страстность любви у Люціи выражается такъ: „Пощѣлуй меня, просила она, и все ея существо, казалось, хотѣло войти въ него—пощѣлуй меня!“ Гербертъ первый разъ познакомился съ Люціей на Гельголандѣ, гдѣ она жила съ англичаниномъ Вардомъ, и считалъ ее женой послѣдняго. Нѣмецкій офицеръ, получившій воспитаніе въ хорошей семьѣ, мужчина уже въ тридцать лѣтъ, принимаетъ горничную, живущую съ молодымъ богатымъ англичаниномъ на морскихъ купаньяхъ, за его жену! Заброшенный ребенокъ бѣдной рабочей семьи, Люціа, живя съ Вардомъ, менѣе чѣмъ въ годъ выучивается англійскому языку, такъ что всѣ принимаютъ ее за англичанку, выучивается играть на роялѣ настолько, что можетъ играть цѣлыя аріи изъ оперетокъ и т. д.

Я уже не ставлю ему въ особую вину то, что онъ говоритъ о „cabinets séparés“, вмѣсто „cabinets particuliers“ и т. п. Нѣмецкій писатель не обязанъ знать французскій языкъ. Было бы уже отлично, если бы онъ зналъ нѣмецкій! Конечно, гораздо лучше было бы не играть словами языка, котораго не знаешь.

Сальности, которыми изобилуетъ этотъ романъ, несравненно менѣе рѣзки, чѣмъ подобныя мѣста въ романахъ Зола, но онѣ производятъ еще болѣе отвратительное впечатлѣніе, такъ какъ при всей неспособности Товота подняться до сквернословія торговыхъ людей, рассказывающихъ о своихъ любовныхъ похожденияхъ въ различныхъ гостиницахъ, онѣ, все-таки, обнаруживаютъ его стремленіе сдѣлать ихъ особенно возбуждающими и со знательно рафинированными.

Если я слишком долго останавливаюсь на этомъ произведеніи, такъ далеко отстоящемъ отъ настоящей литературы, то это потому, что оно является вообще типичнымъ для произведений „реалистовъ“. Языкъ не удовлетворяетъ самымъ элементарнымъ требованіямъ грамматики. Ни одна фраза не выбрана удачно и правильно, и не выражаетъ того положенія и впечатлѣнія, которое хотять передать читателю. У Товота нѣтъ даже намека на мысль о томъ, что писатель долженъ писать не только правильно, но и выразительно, что онъ долженъ умѣть сильно, полно и ново передавать впечатлѣнія и стремленія, что онъ долженъ имѣть представленія о цѣнности и тонкомъ смыслѣ каждаго слова. Описанія его настолько скудны, что ихъ стыдно было бы помѣстить даже въ полицейскомъ протоколѣ. Ничего онъ не видѣлъ, ничего не чувствовалъ, а все является лишь сквернымъ пересказомъ всякой прочитанной чепухи; наконецъ, вся „современность“ заключается въ пустой банальности разсказа о событіяхъ, частью происходящихъ въ Берлинѣ, и тамъ и сямъ разбросанныхъ бормотаньяхъ о социализмѣ и реализмѣ. Нѣмецкая критика 70-хъ годовъ съ полнымъ основаніемъ требовала, чтобы нѣмецкій романъ строился на твердой почвѣ, чтобы онъ разыгрывался въ определенное время, въ дѣйствительной жизни, и имѣлъ мѣстомъ своего дѣйствія германскую столицу. Слѣдствіемъ такихъ побужденій было возникновеніе берлинскаго романа нашихъ подражателей. Характерная берлинская особенность этого романа заключается въ томъ, что авторъ всякій разъ, когда ему нужно говорить о какой нибудь улицѣ, повергается въ неестественное изумленіе готтотта, выставленнаго въ паноптикумѣ, вслѣдствіе того, что онъ видитъ на улицѣ много лавокъ, людей и повозокъ; а затѣмъ, въ томъ, что онъ старается приводить названія берлинскихъ улицъ. Напримѣръ, „Карета ѣхала по Фридрихштрассе, подѣ городской желѣзной дорогой, мимо центрального отеля... На Доротеенштрассе кучеръ долженъ былъ сдержать лошадей, чтобы дать дорогу сильно звонившему вагону конки... Въ слѣдующій моментъ карета рысью выѣхала на Липы“. Или: „Коляска мчалась вдоль Липы... Затѣмъ подѣ широкими сѣрыми шлястрами Бранденбургскихъ воротъ. Безконечное Шарлоттенбургское шоссе лежало передъ ними, но коляска, круто завернувъ влѣво, выѣхала въ темный Тиргартенъ“. Ясно видное средство для приданія роману берлинскаго отбѣнка находится въ рукахъ любого служителя въ отелѣ. Чтобы придать берлинскій характеръ своему грязному роману, автору достаточно взять въ руки планъ города или, въ крайнемъ случаѣ, путеводитель. Особенности столичной жизни выясняются изъ мѣстъ такого рода: „По обѣимъ сторонамъ троттуара (онъ хотеть сказать: „по троттуарамъ обѣихъ сторонъ улицы“), тѣснились плотныя массы народа, а въ серединѣ аллея, подѣ деревьями, только что распускавшими свои первыя листья, толпа, какъ неправильныя (?) волны рѣки, стремилась изъ города“. Или: „Сильное движеніе людей на троттуарахъ, быстрое перебѣганіе и страшное теченіе, на площади, посреди пылящихъ повозокъ и дрожекъ, вагоновъ трамвая и большихъ тяжелыхъ omnibusовъ (такъ!), съ ихъ переполненными имперьялами, пре-

вращалось въ бѣгъ, чтобы не очутиться подъ колесами (нужно обратить вниманіе на этотъ нѣмецкій языкъ: „теченіе, которое не хочетъ попасть подъ колеса“!), чтобы спастись на возвышеніи площади“ и т. д. Слѣдовательно, единственныя впечатлѣнія Товота отъ большого города тѣ же, что и впечатлѣнія деревенскаго парня, попавшаго изъ родной деревни въ большой городъ, гдѣ онъ не можетъ придти въ себя отъ изумленія при видѣ большого количества людей и экипажей, чѣмъ онъ привыкъ видѣть у себя въ деревнѣ. Это какъ разъ то впечатлѣніе, котораго вовсе не испытываетъ горожанинъ и совсѣмъ не нуждается въ его подробномъ описаніи, такъ какъ онъ уже имѣетъ представленіе о городѣ, и, особенно, о большомъ городѣ, да при томъ эти признаки, во всякомъ случаѣ, не имѣютъ специально берлинскаго отбѣнка, такъ какъ они въ той же мѣрѣ приложимы и къ Бреславилю, и къ Гамбургу, и къ Кельну...

Соціализмъ входитъ въ новѣйшіе романы, какъ Пилать въ Кредо. Товотъ рассказываетъ, напримѣръ, какъ Гербертъ ищетъ исчезнувшую Люцію; между прочимъ, онъ заходитъ и въ рабочіе кварталы Берлина, и для автора это является удобнымъ поводомъ для слѣдующей прекрасной картины: „Всюду синяя и красно-сѣрая блуза рабочаго, нѣкогда не показывающагося „подъ Липами“, изо дня-въ-день стоящаго тутъ, возлѣ стонущей машины, за рабочимъ столомъ, приготовляя, какъ во снѣ, въ теченіе десятилѣтій одни и тѣ же предметы, пока мозоли на рукахъ не затвердѣютъ, какъ желѣзо“. О мозоляхъ на рукахъ рабочаго должно быть думать тщетно ищущій свою возлюбленную, Гербертъ, или писатель, желавшій возбудить наше участіе къ такому положенію вещей?

Дѣйствующіе въ реалистическихъ романахъ манекены, среди которыхъ разыгрываются жалкія, устарѣвшія, сентиментальныя чувстваванія уличныхъ романовъ, всегда одни и тѣ же: аристократъ, если возможно, отставной офицеръ, о которомъ въ самыхъ туманныхъ словахъ говорится, что онъ занимается „работами по соціализму“, (Каковы эти работы—неизвѣстно: утверждается только, что онѣ весьма важны), кельнерша, которая воплощаетъ въ себѣ вѣчно-женственное, и художникъ-реалистъ, задумывающій или пишущій картины, предназначенныя для того, чтобы пересоздать человѣчество и установить тысячелѣтнее царство на землѣ. Вотъ рецептъ „современности“ реалистовъ „молодой Германіи“: употребленіе названій берлинскихъ улицъ, изумленіе при видѣ нѣсколькихъ дрожекъ и омнибусовъ, нѣсколько берлинскій диалектъ въ устахъ дѣйствующихъ лицъ, голый, бездушный эротизмъ, сумасбродные кивки въ сторону соціализма и длинныя рѣчи о художествѣ, которыя обыкновенно ведетъ любая торговка гусями, когда хочетъ показать себя умной. Изъ трехъ персонажей, являющихся носителями „современности“, кельнерша дѣйствительно своеобразна. Честь ея открытія принадлежитъ Влейбтрею, который въ новеллѣ: „Дурное общество“—заставилъ свою группу восхищаться ею. Она является помѣсью всѣхъ героевъ сказокъ, которыхъ усыновила поэзія до настоящаго времени: и химера съ крыльями, и сфинксъ съ львиной головой, и сирена съ рыбимъ

хвостомъ. Она обладаетъ всѣми чертами и всѣми талантами, разумомъ, добродѣтелью и горячею способностью любить. На кельнершѣ лучше всего можно видѣть и силу наблюденія, и силу воспроизведенія наблюденій нѣмецкихъ реалистовъ.

Если Товоть является представителемъ вовсе не больныхъ, но прямо таки совсѣмъ неспособныхъ къ литературной работѣ людей, въ которой они больше у мѣста, какъ разносчики книгъ, то въ Германѣ Барѣ мы встрѣчаемъ исключительно болѣзненное явленіе. Баръ—сильный истерикъ, отличающійся наклонностью, гдѣ только возможно, говорить о себѣ и, по несчастной случайности, избравшій самой дурной способъ для этого—книги. Нетаалантливый до невѣроятія, онъ хочетъ обратитъ на себя вниманіе самыми дикими особенностями. Такъ, свою книгу, дающую представленіе о его способностяхъ, единственно только и выпущенную имъ до сихъ поръ, онъ называетъ: „Хорошая школа“<sup>1)</sup>. „Мѣста души“. „Мѣста души?“—спрашиваетъ изумленный читатель. Да, конечно. Дѣло въ томъ, что онъ прочелъ у новѣйшихъ французскихъ писателей выраженіе „état d'âme“ и совершенно его не понялъ. Для всякаго, кто хоть сколько нибудь знаетъ французскій и нѣмецкій языки, это выраженіе значитъ—„состояніе души“. Баръ, съ помощью словаря, узналъ, что „état“ значитъ „мѣсто“ и попросту перевелъ „мѣста души“. Жаль, что онъ не сказалъ „государства души“,—это было бы еще лучше.

Исторія, разсматриваемая въ „Мѣстахъ души“, по крайней мѣрѣ, отчасти составлена по вышеприведенному рецепту. Герою является австрійскій художникъ, проживающій въ Парижѣ; однажды, отъ нечего дѣлать, онъ подцѣпилъ на улицѣ дѣвушку, вопреки обыкновенію оказавшуюся не кельнершею, а модисткой, хотя и обладавшею всѣми сказочными достоинствами нѣмецкой кельнерши; нѣкоторое время онъ живетъ съ нею, потомъ начинаетъ скучать и мучить ее до тѣхъ поръ, пока она не уходитъ отъ него и не переселяется къ богатому негру, который по ея приказанію пріобрѣтаетъ за дорогую плату картины покинутого.

Эта прелестная исторія является канвою, по которой Баръ вышиваетъ „мѣста души“ своего героя. Баръ—послѣдователь неумолимости, которую можно найти у крайнихъ истериковъ. Ни одинъ писатель мало-мальски индивидуальный, бывшій у него передъ глазами, не могъ избѣжать его заимствованій. Основная мысль „Хорошей школы“—терзанія художника, охваченнаго вполнѣ завладѣвшей его душой идеею, идеею произведенія, и вмѣстѣ съ тѣмъ, полного сознанія ея абсолютной невыполнимости,—заимствована изъ романа Зола „Трудъ“. Всѣ частности, какъ мы это дальше покажемъ, онъ беретъ у Ницше, Штирнера, Ибсена, французскихъ демонистовъ, декадентовъ и импрессионистовъ. Но все, что онъ заимствуетъ, въ его рукахъ превращается въ какую то безконечно-смѣшную пародію.

Терзанія художника выражаетъ „Лирика краснаго“. Вся его душа наполнена краснымъ, всѣ его чувства, стремленія, желанія,—все наполнено краснымъ въ стонущихъ и надѣющихся сонетахъ; и,

<sup>1)</sup> Hermann Bahr, „Die gute Schule“. Seelenstände (!). Berlin 1890.

главнымъ образомъ, полная жизнь краснаго,—все, что въ немъ жило, все, что съ нимъ случилось... Но на самомъ дѣлѣ, эта пѣсня краснаго ясно вычерчивалась въ блѣдныхъ тонахъ повседневной жизни. „Онъ воплотилъ“ свою ищущую и сильную идею краснаго въ большомъ упитанномъ омарѣ, свое томленіе—въ семгѣ, а плутоватость и веселость—въ редискахъ, въ ихъ радостномъ разнообразіи. Но самая сильная и страстная исповѣдь его душишла себѣ выраженіе въ пушистой пурпуровой скатерти, „освѣщенной падающими лучами солнца, тонкой, но тѣмъ ярче горѣвшей“. Если домогательство „изображенія красной жизни“ было мученьемъ вообще, то для него оно должно было быть еще мучительнѣе. Въ одинъ прекрасный день, „какъ какое то проклятіе стала позади него превосходная, жирная и нѣжная семга, въ которой нельзя было увидѣть никакого коварства: такъ нѣжно, съ розовымъ блескомъ шевелилась она въ пышной волнѣ салата“ (Вареная семга, которая шевелится!.. Это должно быть похоже на привидѣнье!.. И эта невѣроятная семга стояла позади него, какъ будто онъ лежалъ передъ ней на столѣ). „Но этотъ салатъ, этотъ зеленый вѣнецъ изъ салата, гордость повара,—и былъ проклятіемъ: онъ убилъ его. Никогда въ жизни, насколько онъ помнилъ себя, онъ не видѣлъ ничего подобнаго этой нѣжной и гладкой зелени, стонущей и радостной одновременно, такъ что одновременно можно было и стонать и смѣяться. Все роккоко заключалась въ этой зелени, но только въ гораздо лучшей, нѣжной формѣ. Она должна была появиться на его картинѣ“. Но онъ никогда не могъ найти этой зелени, и въ этомъ была трагедія его жизни. Онъ „скрывалъ правду, молчаливо носилъ ее, единственный, который могъ ее повѣдать, онъ не давалъ имъ цѣлительнаго и успокаивающаго бальзама своей груди“, т. е. зеленого салата! „Онъ могъ бы ввинтить въ свое тѣло огромный, рѣжущій буравъ... глубоко, пока не сдѣлалась бы большая дыра.... невѣроятныя триумфальныя ворота для его искусства, черезъ которыя могли бы вырваться наружу его внутренности“. Не нужно удивляться тому, что онъ ищетъ свое искусство въ своихъ внутренностяхъ: вѣдь дѣло идетъ о зеленомъ салатѣ, т. е. о кушаньи. Достойно замѣчанія лишь то, что для того, чтобы вывести свое искусство изъ внутренностей на дневной свѣтъ, онъ хочетъ пробуровать невиданныя „триумфальныя ворота“. Обыкновенно это дѣлается гораздо проще.

Невѣроятную комичность этому стремленію къ зеленому салату для превращенія его въ цѣлебное и утѣшающее произведеніе искусства, придаетъ то, что все это мѣсто написано чрезвычайно серьезно, безъ тѣни насмѣшки.

Баръ самъ характеризуетъ свой стиль слѣдующими словами: „Дикій, лихорадочный, тропическій стиль, не имѣющій ничего общаго съ обычнымъ употребленіемъ словъ, но извивающійся въ неслыханныхъ, темныхъ, рѣдкихъ словоупотребленіяхъ, въ рѣдкихъ и дикихъ сочетаніяхъ“. Я хочу привести нѣсколько образцовъ этихъ извиваній, которые должны дать понятіе о манерѣ Бара говорить, и о его способности воспринимать вещи. Возлюбленная художника имѣетъ „растрепанную косичку изъ локоповъ“.

Художникъ. выставляетъ впередъ „гордое остріе своей мягкой острокопечной бородки“. Онъ „даетъ длинныя разъясненія съ введеніями, предисловіями и совѣтами“. „Она сѣла подь неподвижный, далеко впередъ глядѣвшій взоръ“. „Бѣгать безъ цѣли, какъ козленокъ, когда его зоветъ кровь“. „Онъ вдыхалъ прислушивающимся, расширенными чувствами запахъ цвѣтовъ и мяса“. „Маскающими пальцами онъ тихо щекоталъ ея нервы по бедрамъ и поясищѣ“... „Складки, корзины (!) ея груди хотѣли лопнуть“. „Но когда онъ ложился, сонъ бѣжалъ, но среди толчковъ и стужи было только изсушающее мозгъ отвратительное качанье подь давленіемъ ужасныхъ кошмаровъ“. Но вотъ она внезапно исчезла... Какъ птичка вдругъ срывается. Какъ меркнетъ звѣзда“. „Всѣ развратныя каррикатуры декламировали онъ съ стонущимъ одушевленіемъ“.

Возлюбленная художника по описанію должна быть чудеснымъ созданіемъ. Когда незнакомецъ заговаривалъ съ ней на улицѣ, то „она нѣсколько ускоряла шагъ, съ гордо нахмуренными бровями наклоняла головку на бокъ, и начинала напѣвать про себя, нетерпѣливо перебирая пальцами, такъ что слышно было щелканіе; у него пропадала всякая охота настаивать на несбыточномъ домогательствѣ“. Такое поведеніе даетъ Бару поводъ назвать ее „недоступной, величественной барышней“. Еще замѣчательнѣе ведетъ она себя дома, во время туалета. „Часто подь поцѣлуемъ утра, золотящимъ гіацинты ея тѣла (!), она гладко причесывалась передъ зеркаломъ, охваченная желаніями, и медленно своими вздрагивающими пальцами, которые извивались какъ быстрыя змѣйки, совсѣмъ тихо и осторожно перебирала растрепанныя рѣсницы (!), измятыя брови, дразнила, складывая губы въ тонкую трубочку, внутри которой вертѣлся беспокойный язычекъ, и затѣмъ, нагнувшись съ сдвинутыми рѣсницами, какъ бы умоляя, тихо наклонялась надъ ящичкомъ съ пудрой въ то время, какъ ея носикъ, боясь пыли, вздергивался къ верху, и пудрила себѣ щеки“; художникъ былъ такъ влюбленъ въ нее, что „лизалъ мыло съ ея пальцевъ, чтобы утѣшить лихорадочное небо“. „Она то нагибалась тихо, медленно, полная томленія, съ наслажденіемъ останавливаясь въ извилинахъ своей груди, глубоко въ свои колѣни, губы ея такъ манили къ себѣ; то, въ то время какъ ея бедра двигались, ея затылокъ причудливыми (!) изгибами скользилъ по ея послушной спинѣ“. При этомъ ея возлюбленный былъ въ такомъ восхищеніи, „что какъ будто огненные (!) потоки изъ тысячи колодцевъ клекотали въ его груди“.

Я думаю, что больше не нужно приводить примѣровъ этой безумной, безтолковой рѣчи, которая ни въ употребленіи словъ, ни въ построеніи предложеній—не соответствуетъ нѣмецкому языку. Мнѣ хочется еще показать, какъ далеко Баръ заходитъ въ подражаніи. Вотъ у насъ Нитцше: „Но все-таки—это онъ долженъ былъ сдѣлать, подобно скучнымъ жалобамъ дѣтства, и всегда—онъ долженъ и долженъ, а что онъ хотѣлъ, о томъ только его никогда не спрашивали; такимъ образомъ, въ этомъ удручающемъ рабствѣ явилось въ немъ невыразимое стремленіе, наконецъ, стать самимъ собой и никогда не быть другимъ, никогда“. „Каждый относительно другихъ имѣетъ только одно стремленіе... властво-

вать надъ ними! Чтобъ никогда не быть самимъ собой, ни одного часа, а всегда ломать себя, измѣнять себя, дробить на куски для удовольствія другихъ... Одного, одного!... Почему они не хотѣли оставить никого однимъ?" „Обезпечить себѣ пустыню, голую, тихую пустыню“. „У другихъ не было этого ощущенія своего „я“, такого сильнаго, и выливающего“. „Радостная ненависть къ людямъ и ко всему міру“. А вотъ Ибсенъ: „Онъ хотѣлъ ѣхать въ деревню, да, онъ самъ, ясно какъ этого требовалъ другой. Но онъ хотѣлъ самъ, это было его желаніе, а не требованіе другого... и прежде чѣмъ онъ уступилъ требованію другого, онъ отказывался охотнѣе отъ своего желанія: и все-таки, когда другой хотѣлъ того же самаго, его желаніе было уже испорчено“. Вотъ Гонкуръ. „Вокругъ нея было сіяніе болящаго фіолетоваго и свѣтло-золото-го цвѣта“. Его чувство было охватывающимъ „и то же на желтомъ фонѣ, грязно желтое, страстное, изломанное, матовое, умиряющее, зовущее и съ фіолетовыми тонами, но совершенно тихими“. „Это была чистая страсть. Въ сознаніи его она представлялась перламутрово-сѣрой съ прекрасной каймой“. Вотъ Вилье де Жиль-Адамъ: „Онъ долженъ былъ создать новую любовь... Въ стилѣ электричества и пара—въ этомъ была задача. Эдиссоновскую любовь... Машинную любовь“. А вотъ смѣсь изъ Бодлера и Гюисманса: „Въ колеблющейся серебристой пыли свѣта отъ ея розоваго тѣла исходилъ золотой колеблющійся свѣтъ, сотканный изъ темно-синихъ и свѣтло-зеленыхъ паровъ, которые исходили изъ ея пушка... Онъ хотѣлъ совершенно растерзать и разорвать ее... Только крови, крови... Ему только тогда стало хорошо, еслибы она полилась... По этому онъ составилъ себѣ теорію, что это и были пути къ его новой любви: черезъ пытки“. „Тамъ лежали огненно-красныя поля, раскинувшіяся въ любовной страсти..... и голубые вампиры, надежды. Но могущественной сѣрый подсолнечникъ, полный гордости, съ королевскимъ достоинствомъ, прямой и ровный, качался тамъ въ рукѣ неуклюжаго, вонючаго чертополоха, который съ широкимъ, чистымъ золотомъ тяжело таскался дальше“. „Истиннымъ искусствомъ для него, единственнымъ искусствомъ, успокаивающимъ и дѣлающимъ счастливымъ, стало искусство запаховъ... Въ блѣдномъ, стонущемъ запахѣ розы, въ которомъ заключается самоубійство, онъ воскрешалъ вѣчное ученіе Будды“. Дальнѣйшее лучше прочесть въ произведеніи Гюисманса „A rebours“. На страстныя мѣста, призывающія къ смирительной рубашкѣ, указывающія на сатиризмъ и садизмъ, на курьезную путаницу и неправильное правописаніе французскихъ именъ, которыя у автора романа, разыгрывающагося въ Парижѣ, проскакиваютъ на каждомъ шагу, на его сильныя стремленія къ грандіознымъ мечтамъ достаточно указать лишь между прочимъ. Они не существенны, но указываютъ на то, что книга Бара является единственнымъ примѣромъ истеричнаго разстройства духа въ нѣмецкой литературѣ.

Большинство нѣмецкихъ подражателей не достигло такого замѣчательнаго исполненія, какъ Товотъ и Баръ, а осталось все еще при коротенькихъ лирическихъ стихкахъ. Удобное обозрѣніе ихъ

лирики можно сдѣлать по изданному Бирбахомъ сборнику <sup>1)</sup>. Нѣкоторые стихишки этого „сборника“. представляютъ изъ себя просто записываніе лѣниваго бормотанія бездѣльнаго малаго, который за пивнымъ столикомъ въ самомъ свободномъ тонѣ разговариваетъ со своей компаніей. Напримѣръ, это произведеніе Арно Гольца („Старый садъ“). Фавнъ, который дуетъ въ флейту.— Я ясно вижу его пальцы.—...И правое (плечо) я вижу.—Только не вижу головы.—Ея нѣтъ.—Она отбита—Она уже въ теченіе столѣтій лежитъ—внизу въ болотѣ.—Шлепъ!—?—Лягушка.“ („Воль“). —„Отдать?—Я?—Тебя?—Давно!—Я сдѣлалъ это раньше, чѣмъ узналъ объ этомъ“. Когда онъ хочетъ быть особенно страстнымъ и патетичнымъ, то получаютъ такія красоты: („Ты“). „Тебя имѣть—тебя имѣть—тебя, наконецъ, имѣть—Совершенно обнаженной,—Совершенно обнаженной!...—Совершенно обнаженной!—Совершенно обнаженной!—И мое сердце—совершенно—замерло—передъ счастьемъ—передъ счастьемъ“. Лучшія стихотворенія сборника звучатъ, какъ передаваемые шарманкой мотивы Гейне, въ безвкусномъ исполненіи тупыхъ умовъ.—„Современность“ этихъ произведеній имѣетъ за собою, слѣдовательно, уже шестьдесятъ или семьдесятъ лѣтъ. Ихъ нельзя назвать плохими: они только обычны. При высокомъ состояніи нашей лирики въ теченіе полустолѣтія, пріятное позваниваніе лирическихъ мелодій лежитъ въ крови у каждаго нѣмца. Это лирическое позваниваніе прирожденно каждому нѣмцу: оно его наслѣдственная способность, пріобрѣтенная отъ родителей, способность, которой обладаетъ не только всякій гимназистъ, но и всякій образованный подмастерье. Заслуга вовсе не въ писаніи лучшихъ стиховъ „Современнаго Альманаха Музы“, но въ томъ, чтобы препятствовать появленію ихъ на свѣтъ. Нѣкоторые изъ сотрудниковъ этого альманаха не подражаютъ, по крайней мѣрѣ, вѣковѣчному Гейне. Густавъ Фальке, изъ Гамбурга, на родинѣ котораго знаютъ и англійскій языкъ, и англійскую литературу, находитъ источникъ своего вдохновенія въ прерафаэлизмѣ и вздыхаетъ мистически-эстетическимъ образомъ: („Подсолнечники“). „Вечеромъ между сномъ и бодрствованіемъ—Я вовсе не думалъ о святомъ—передо мной стоялъ Назарей—... Въ рукѣ онъ держалъ пвѣтокъ—Какъ ангель, золотая звѣзда—Склонялась надъ плечомъ нашего Владыки.—Какъ скромные художники, ангелы—Держали пальмовыя вѣтки мира:—Подсолнечникъ, совсѣмъ распустившійся“.—Юганъ Шлафъ подражаетъ даже старому Опицу: („Папа Опицъ“) „Подобно тому, какъ лучъ солнца сіяетъ изъ за тучъ—и освѣщаетъ весеннія поля золотымъ сіяніемъ“ и т. д. Здоровымъ, выдающимся и самостоятельнымъ является, только Эрнстъ Фрейерръ фонъ-Вольцогенъ. Нужно лишь удивляться тому, что Вольцогенъ опустился до того, чтобы показаться рядомъ съ этими „возмутительно гремящими псарями“.

Вожакъ этой банды, Бирбаумъ, который до своего переѣзда въ Берлинъ, разыгрывалъ въ Мюнхенѣ маленькаго Блейбтрея, и, являясь Варвикомъ литераторовъ „Молодой Германіи“, защи-

<sup>1)</sup> Moderner Musen-Almanach auf das Jahr 1893 herausgegeben von Otto Julius Bierbaum. Ein Sammelbuch deutscher Kunst. München.



шаль и выдвигалъ впередъ реалистическихъ геніевъ, утверждаетъ съ отвагой, указывающей на твердость предпринятаго рѣшенія, что онъ идетъ всегда „Впередъ, впередъ—Среди ужасной тьмы—На встрѣчу свѣтлой истинѣ“<sup>1)</sup>. Вотъ образцы этой „свѣтлой истинны“ („Жанетта“ съ однимъ н!). „Кто такое моя дорогая? Это гладильщица.—Гдѣ она живетъ? Внизу у песка.—Тамъ, гдѣ шумитъ Изарь, тамъ, гдѣ стоитъ мостъ.—Тамъ, гдѣ лугъ покрытъ развѣвающимися рубашками:—Тамъ лежитъ мой рай.—Въ самомъ маленькомъ домикѣ.—Съ зелеными ставнями.—Тамъ мое сокровище стоитъ подлѣ гладильной доски.—Гойго, какъ она быстро двигаетъ утюгомъ—Боже! Какъ раскраснѣлись ея щечки“. Пусть читатель оцѣнитъ естественность и правдивость этихъ „Гойго“ и „Боже“. („Крикъ“). „Меня пожираетъ ненависть, меня пожираетъ страсть—Къ тебѣ, къ тебѣ, къ тебѣ!—Пылаетъ моя кровь, пылаетъ мой мозгъ—По тебѣ, по тебѣ, ты улыбающаяся дѣвочка.—Я боленъ и тѣломъ, и душой отъ любви—къ тебѣ, къ тебѣ, привлекательная женщина“. („О красныхъ щечкахъ я пишу эту сказку“). „Полная крестьянская дѣвушка.—Здоровая крестьянская дѣвушка.—Крестьянская дѣвушка съ красивыми бедрами—привлекаетъ весь свѣтъ“.

Но все это только смѣшно и врядъ ли достойно даже пожиманія плечами. Истинную боль доставляетъ созерцаніе произведеній реалистовъ „Молодой Германіи“, дѣйствительно обладающихъ серьезнымъ лирическимъ талантомъ, но растрачивающихъ свои природныя дарованія на безосновательную грубость. Карлъ Генкель въ началѣ былъ многообѣщающимъ писателемъ. Его „Призывы чернаго дрозда“ дышатъ, дѣйствительно, поэзіей. Но въ позднѣйшемъ<sup>2)</sup> сборникѣ есть уже такія строфы: „Пользованіе толстотой и животомъ блудницы,—цивилизованной блудницы культуры—порокъ, ложь и обманъ.—Плевки на отвращеніе поэта.—Обиженной природы“. Онъ даже гордится тѣмъ, что съ такимъ свинскимъ увлеченіемъ чувствуетъ себя въ своемъ навозѣ и злобно бросаетъ въ лицо выступающимъ противъ него лицамъ, которыя зажимаютъ носъ и ускоряютъ шаги, проходя мимо его лужи: („Милая критика“) О какъ будутъ чистыя двурукія утки—отряхивать со своихъ перьевъ грязную воду! О какъ будутъ мои враждебные рецензенты—морально-эстетически меня колесовать и терзаты!“ Онъ не только совершенно потерялъ человѣческое сознаніе и возвратился къ невѣжеству мужика, но при этомъ переворотѣ лишился даже послѣднихъ крохъ поэзіи и пишетъ мѣста, подобныя слѣдующему: „Въ Гельзенкирхенѣ—въ красномъ Рейнландѣ—забастовали углекопы—и происходитъ большая заминка въ дѣлахъ“. Это вовсе не начало оплаченной по строчкамъ телеграммы корреспондента, но это должны быть стихи! Не выше въ смыслѣ поэзіи стоитъ и стихотвореніе „Мораль“, которое я привожу потому, что оно заключаетъ въ себѣ его самопониманіе: „Они находятся у насъ еще глубоко въ крови—жестокіе

<sup>1)</sup> Otto Julius Bierbaum. Erlebte Gedichte. Zweite Auflage. Berlin 1893. S. 8, 9, 41, 93.

<sup>2)</sup> Karl Henckell, Diorama. Zürich. 1880. S. 2, 75, 93, 139.

щники палача.—Различіе между добромъ и зломъ,—Нравственныя понятія.—Мы все еще говоримъ о долгѣ.—О добродѣтели и преступленіи.—Какъ охотно мы говоримъ о Божеской наградѣ и —о Божьемъ наказаніи.—Но я знаю, что ничто не отличаетъ меня —отъ разбойника.—Кромѣ дара стихосложенія—свободнаго душевнаго мира“. Чтобы обосновать свое стремленіе къ „современности“, Генкель, какъ это можно здѣсь видѣть, на скверномъ кларнетѣ перенгрываетъ мотивы Нитцше. Если бы за нѣмецкимъ реализмомъ не было другой вины, кромѣ безвозвратнаго поглощенія какого нибудь Карла Генкеля, то было бы достаточно потопить его въ кадкѣ собственной глупости.

Особеннаго вниманія заслуживаетъ Гергартъ Гауптманъ. непостижимымъ образомъ тоже попавшій въ ряды „Молодой Германіи“. Его нельзя смѣшивать съ нимъ, такъ какъ, хотя онъ и съ легкимъ сердцемъ допускаетъ ихъ низкую эстетику, что указываетъ только на неразвитость его вкуса и незнаніе правилъ искусства, но тѣмъ не менѣе имѣетъ много самостоятельнаго: онъ обладаетъ крупной, полной красокъ, чувствъ и выраженной рѣчью, хотя и пишетъ только на нарѣчьи; умѣетъ наблюдать дѣйствительность и искусно воспроизводить ее въ своихъ твореніяхъ.

Никто, конечно, не дастъ полной оцѣнки тридцатилѣтнему писателю. Можно только говорить объ его начинаніяхъ и питать надежды на его дальнѣйшее развитіе. То, что онъ далъ до сихъ поръ, поразительно разнообразно. Его работы показываютъ на ряду съ самостоятельностью—стремленіе къ подражанію, рядомъ съ высокими художественными дарованіями—безпомощность и наивность пикольника; рядомъ съ гениальнымъ размахомъ мысли—печальныя банальности. Нельзя еще даже опредѣлить, драматургъ онъ или беллетристъ, ибо въ двухъ его произведеніяхъ: „Передъ восходомъ солнца“ и „Колледжъ Крамптонъ“—видно такое отсутствіе развитія дѣйствія, такая безсодержательная, неценничная обстановка, которыя совершенно не могутъ удовлетворить любую натуру, стремящуюся быть драматургомъ. Можетъ быть, Гауптманъ просто находится подъ вліяніемъ опредѣленной эстетической теоріи, отъ которой онъ впоследствии освободится. Именно онъ хочетъ возможно вѣрнѣе и полнѣе передать „среду“ и теряетъ при этомъ изъ виду главную мысль, дѣйствующихъ лицъ, и ихъ судьбу. Поэтому-то его драмы распадаются на цѣлый рядъ отдѣльныхъ эпизодовъ, которые сами по себѣ очень хороши и характерны, но съ общимъ ходомъ дѣйствія имѣютъ весьма слабую связь или не имѣютъ ея вовсе, какъ, напримѣръ, въ драмѣ „Передъ восходомъ солнца“ появленіе Гобслабера, уѣзжающей Маріи, ворующей молоко жены кучера и т. д., и въ силу этого они становятся просто картинками нравовъ, по могущими, однако послужить предметомъ для отдѣльнаго произведенія<sup>1)</sup>.

Если свое стремленіе къ описанію среды (milieu) онъ занимствовалъ у французскихъ реалистовъ, то у Ибсена онъ перенялъ

<sup>1)</sup> Въ его послѣдней драмѣ „Флоріанъ Гейеръ“ (1896 г.), которая была по задумкамъ плохо принята на берлинской сценѣ, это расчлененіе драматической нити на отдѣльные эпизоды дошло до крайнихъ предѣловъ.

шарлатанство современностью и игру въ громкія названія. По примѣру норвежскаго поэта, онъ вкладываетъ въ обыденную, во все не принадлежащую какому нибудь опредѣленному мѣсту и времени, исторію, внезапно, безъ всякой органической связи, многозначительныя фразы, которыя темно говорятъ „о великомъ времени, въ которое мы живемъ“, „о страшныхъ событіяхъ, которыя готовятся“ и т. д. „Одинокіе люди“ служатъ примѣромъ представленія громкаго имени къ драмѣ, рисующей намъ истинно ибсеновскаго идиота, который воображаетъ, что его супруга не можетъ его понять и влюбляется въ русскую студентку, проживающую у него въ домѣ въ качествѣ гостыи. Какъ обыкновенно поступаютъ безсильныя людшки такого сорта, онъ хотѣлъ бы и русскую сдѣлать своей и не терять супруги; у него не хватаетъ ни мужества опечалить свою жену, открывъ ей истину, ни силы отказать отъ заботливаго состраданія чужестранки. Онъ хочетъ себя обмануть, самъ себя увѣрить, что къ русской онъ питаетъ только дружбу, только благодарность за то, что она его поняла, только духовное влеченіе, но она правильнѣе смотритъ на вещи и хочетъ покинуть домъ. Вся эта канитель заканчивается тѣмъ, что идиотъ топится. Эта исторія—колебаніе слабаго чловѣка между двумя женщинами, изъ которыхъ одна воплощаетъ въ себѣ нѣжную заботливость, а другая—яркое счастье,—такъ же стара, какъ и самъ театр. Она не относится къ какому либо опредѣленному времени. Современность, въ крайнемъ случаѣ, можно только приплести къ ней. И въ этой слабой драмѣ Гауптманъ заставляетъ дѣйствующихъ лицъ обмѣниваться слѣдующими глубокомысленными, полными значенія, словами: <sup>1)</sup> „Анна (русская): „Время, въ которое мы живемъ, въ сущности великое время. Мнѣ кажется, что отъ насъ отодвигается что то темное, давящее. Вы не думаете этого, докторъ?“ Иоганнъ (идиотъ): „Но какъ далеко?“ Анна: „Съ одной стороны насъ покоряетъ тупой страхъ, съ другой стороны мрачный фанатизмъ, но напряженіе гонителей, кажется, уже сглаживается. Что то похожее на бурю, скажемъ мы, въ двадцатомъ вѣкѣ, пронеслось“.

Это же стремленіе къ современности заставило его назвать свое первое произведеніе: „Передъ солнечнымъ восходомъ“—и дать подзаголовокъ „соціальной драмы“. Но эта драма ничуть не „соціальнѣе“ любой драмы и съ восходомъ солнца уже совершенно ничего общаго не имѣетъ. Въ ней рисуется жизнь маленькой деревни, крестьяне которой, велѣдствіе открытія на ихъ землѣ залежей каменнаго угля, стали миллионерами. Соединеніе крестьянскаго невѣжества съ ихъ колоссальнымъ богатствомъ даетъ роскошныя водевильныя сценки; но причеъ современность со своими задачами? Въ водевилѣ вставлена опредѣленная идея. Миллионеръ мужикъ становится пьяницей. Его дочь можетъ наследовать порокъ отца. Поэтому влюбленный въ нее чловѣкъ, уже обрученный съ нею, съ болью въ сердцѣ расходится съ ней, узнавъ, что старикъ пьетъ. Эта идея—сплошная глупость. Конечно, пьяница можетъ передать свой порокъ дѣтямъ, но вовсе

<sup>1)</sup> Einsame Menschen. Drama. Berlin. 1891. S. 84.

не долженъ этого сдѣлать, и въ данномъ случаѣ, его уже взрослая дочь вовсе не чувствуетъ влеченія къ спиртнымъ напиткамъ. Этотъ мотивъ разработанъ на манеръ ибсеновскихъ разсказиковъ и такъ же мало соотвѣтствуетъ дѣйствительности, какъ этотъ женскій, который подчиняетъ свою любовь совершенно недоказанной теоріи. Въ этомъ человѣкѣ мы узнаемъ своего стараго знакомаго, типъ, составленный по рецепту реалистическаго романа, который занимается никому неизвѣстными работами по социализму, послѣдователемъ <sup>1)</sup> котораго онъ является, и вслѣдствіе этихъ неясныхъ стремленій и становится „современнымъ“.

Правдиво и сильно пишетъ Гауптманъ только тогда, когда онъ заставляетъ бѣдныхъ маленькихъ людей изъ низшаго класса общества говорить на своемъ языкѣ. Служанки въ „Передъ солнечнымъ восходомъ“ великолѣпны. Мамка, убаюкивающая своего питомца, прачка фрау Леманъ, которая клянетъ свое семейное несчастье,—лучшіе типы въ „Одинокихъ людяхъ“. И, если „Ткачи“—лучшее изъ его произведеній, то только потому, что тамъ рѣчь идетъ только о бѣднѣйшихъ и самыхъ маленькихъ людяхъ, которые все время говорить на своемъ діалектѣ. Но какъ только Гауптманъ хочетъ выставить на сцену сбитыхъ съ толку людей высшаго класса, людей, которые не голодаютъ и не страдаютъ отъ бѣдности, которые говорятъ по верхне-германски, которые обладаютъ широкимъ умственнымъ кругозоромъ, онъ становится неправдоподобнымъ и слабымъ и беретъ за рецепты реалистовъ вмѣсто того, чтобы пользоваться дѣйствительностью, какъ математикъ.

„Ткачи“ являются единственной настоящей драмой изъ восьми, написанныхъ Гауптманомъ до сихъ поръ. Здѣсь, правда, тоже нѣтъ особенно много дѣйствія, но оно все-таки проявляется и развивается все сильнѣе и сильнѣе. Сначала мы видимъ глубокую нищету, затѣмъ мы становимся свидѣтелями роста ихъ злобы на жестокія условія и, наконецъ, передъ нашими глазами горе постепенно переходитъ въ бѣшенство, въ стремленіе къ разрушенію, въ призывъ къ уличной борьбѣ со всѣми ея драматическими послѣдствіями. Самымъ замѣчательнымъ въ этой драмѣ является то, что въ ней Гауптманъ широкимъ размахомъ своего генія побѣдилъ величайшее затрудненіе—заставить насъ волноваться и чувствовать по-человѣчески, не выставляя въ своемъ произведеніи отдѣльнаго человѣка центральнымъ лицомъ, и распредѣлить все развитіе драмы между большимъ количествомъ

<sup>1)</sup> Gergard Hauptmann, Vor Sonnenaufgang. Sociales drama. Sechste Auflage. Berlin. 1892. S. 14. „Въ эти два года тюремнаго заключенія я написалъ свою первую книгу по народному хозяйству“. S. 42. „Жители Икаріи... они распредѣляютъ между собою всю работу и весь заработокъ равномерно. Никто изъ нихъ не бѣденъ, нѣтъ ни одного бѣднаго между ними“. S. 47. „Моя борьба,—борьба за общее счастье, но я все-таки долженъ сказать, что борьба за прогрессъ доставляетъ мнѣ большое наслажденіе“. (Конечно, объ этой знаменитой борьбѣ въ драмѣ не говорится ни слова). S. 63. „Я хотѣлъ бы изучить мѣстные условія. Я хочу изучить положеніе здѣшнихъ рудокоповъ... Моя работа въ силу необходимости должна быть описательной“ и т. д.

лицъ и цѣлой кучей отдѣльныхъ чувствованій такъ, что развитіе дѣйствія ни на минуту не перестаетъ быть единымъ и строго проведеннымъ. Эти отдѣльныя, мучительныя чувства переживаются, конечно, отдѣльными людьми, но возбуждаютъ въ насъ интересъ, участіе и состраданіе не къ отдѣльнымъ лицамъ, но къ цѣлому человѣческому классу. Путемъ эмоціи мы переходимъ къ обобщенію, которое обыкновенно является продуктомъ лишь работы сознанія, благодаря поэзіи мы приходимъ къ чувству, которое можетъ быть возбуждено только міровой исторіей. И вотъ, дѣлая это возможнымъ, Гауптманъ высоко подымается надъ болотомъ подражателей и выставляетъ, дѣйствительно, новую форму искусства: драму, въ которой является не одно лицо, а масса; путемъ искусства онъ достигаетъ обмана ума, такъ что мы на самомъ дѣлѣ вѣримъ, что видимъ передъ собой безыменные миллионы, хотя, конечно, на сценѣ страдаютъ только отдѣльныя лица, дѣйствуя и разговаривая. вмѣстѣ съ этимъ огромнымъ ниспровергающимъ основаніемъ новшествомъ въ драмѣ прекрасно разрѣшаются важнѣйшіе вопросы эстетики. Передъ нами драма безъ любви и въ ней мы имѣемъ доказательство, что чувства читателей могутъ быть сильнѣйшимъ образомъ потрясены и другими человѣческими стремленіями, кромѣ полового. Это произведеніе является прекраснымъ вкладомъ въ совершенно новую „психологию толпы“, которой занимались Сигеле, Фурньяль и др. <sup>1)</sup> и даетъ совершенно вѣрную картину возбужденія и обмана чувствъ, которымъ подчиняются единичныя лица въ возбужденной толпѣ, отдающія и свой характеръ и всѣ свои стремленія во власть лжежаконъ. Наконецъ, нѣтъ, по моему мнѣнію, болѣе убѣдительнаго примѣра во всемірной литературѣ тому, что даже при изображеніи самыхъ красивыхъ, отвратительныхъ вещей можно сохранять красоту. Бѣдный ткачъ, который въ продолженіе двухъ лѣтъ не ѣлъ мяса, проситъ своего друга убить маленькую, забѣжавшую къ нему собаченку, потому что у него самого на это не хватаетъ силъ, а его жена приготовляетъ ее ему. Онъ не можетъ удержать своего голода и начинаетъ жадно глотать это блюдо со сковороды, даже раньше, чѣмъ оно окончательно поспѣло. Но его желудокъ не переноситъ этого лакомства и онъ къ своему сожалѣнію долженъ вывести его изъ желудка обратно. Картина сама по себѣ не аппетитная. Она въ этомъ мѣстѣ весьма трогательна, потому что она показываетъ съ неподражаемой трагической силой страданія несчастныхъ бѣднѣйшихъ.

Это произведеніе, повидимому, такое реалистическое въ смыслѣ, влагаемое въ это слово поверхностными болтунами, является убѣжденнѣйшимъ противорѣчіемъ теоріи реализма. Вѣдь невѣроятно, чтобы черты, характеризующія ужасное положеніе ткачей, столкнулись всѣ въ одинъ день послѣ обѣда и въ одной комнатѣ у фабриканта Драймгера, и, если не вполне невозможно, то въ высшей степени невѣроятно, чтобы убійственная солдатская пуля убила именно ткача Гильзе, богобоязненнаго, по-

<sup>1)</sup> Scipio Sighele, „La folla delinquente“, Turin. 1892. *Journal. Essai sur la psychologie des foules.* Lyon, 1892.

корнаго своей судьбѣ человѣка, спокойно работавшаго въ то время, когда другіе всѣ принимали участіе въ безпорядкахъ и уличной дракѣ. Здѣсь поэтъ не воспроизводитъ „реальной“ жизни, но свободно оперируетъ надъ матеріаломъ, доставляемымъ ему наблюденіемъ жизни для того, чтобы художественно олицетворить свои личныя идеи. Его идеей было возбудить наше состраданіе къ опредѣленной формѣ человѣческихъ бѣдствій съ такою живостью, съ какою онъ самъ это чувствовалъ. Для этой цѣли онъ собираетъ и втискиваетъ увѣренной рукою художника въ узкія рамки то, что въ жизни совершалось—мѣсяцы или годы и на огромномъ пространствѣ, онъ отклоняетъ полетъ слѣпо-безсознательной пули такъ, что оза, какъ разумный злодѣй, совершаетъ особенно нечестивое преступленіе и этимъ возбуждаетъ наше состраданіе къ бѣднымъ ткачамъ до невыносимаго негодованія. Итакъ, это произведеніе показываетъ намъ идеи и намѣренія поэта, показываетъ намъ его манеру наблюдать и объяснять дѣйствительность, позволяетъ намъ узнать чувства, вызываемыя въ немъ зрѣлищемъ міра: оно, слѣдовательно,—произведеніе въ высшей степени субъективное, т. е. противоположность „реалистическаго“ изображенія фактовъ, которые необходимо должны быть фотографически объективными.

Наряду съ тонкимъ вкусомъ и умнымъ расчетомъ дѣйствія у него сочетается такая наивность въ указаніяхъ для сцены, какую, напр., можно найтти въ „Vor Sonnenaufgang“: „Госпожа Краузе вспоминаетъ мысленно, садясь къ столу, что еще не прочтена молитва и механически складываетъ руки; однако, не можетъ овладѣть своей злобой въ остальныхъ отношеніяхъ“. „Крестьянинъ Краузе, какъ всегда, остался послѣднимъ гостемъ гостиницы“. „Онъ обнимаетъ ее съ неуклюжестью гориллы“ и т. д. Какъ долженъ поступить актеръ, чтобы показать зрителямъ въ своей неуклюжести неуклюжесть гориллы или, что онъ остается въ гостиницѣ „какъ всегда“ послѣднимъ? Далѣе, какъ объяснить, что тотъ же Гауптманъ, который создалъ „Ткачей“, могъ написать наряду съ этимъ гордымъ произведеніемъ новеллы „Der Apostel“ и „Bahnwärter Thiel“? <sup>1)</sup> Здѣсь мы падаемъ въ самую глубь неспособности „Молодой Германіи“. Идея безсмысленна и подражательна, жизненной правды нѣтъ и рѣчи, а языкъ, который, когда Гауптманъ пишетъ на жаргонѣ, такъ своеобразенъ и живъ, и такъ точно передаетъ малѣйшій оттѣнокъ мысли, здѣсь баналенъ и натянутъ до крайности. Распространяться объ „Apostel“—нечего. Явно душевно-больной мечтатель ходитъ въ восточномъ пророческомъ одѣяніи по улицамъ Цюриха и прославляетъ передъ толпою Христа. И это—весь сюжетъ. Онъ построенъ такъ, что неизвѣстно, гдѣ идутъ мнѣны „Апостола“, гдѣ дѣйствительность. Его идеи и чувства—стремленіе идей и чувствъ Нитцше. Несомнѣнно, „Заратустра“ крѣпко засѣлъ въ головѣ

<sup>1)</sup> Gerhardt Hauptmann, Der Apostel. „Bahnwärter Thiel. Novellistische Studien. Berlin, 1892. Конечно, эта книга старше „Ткачей“, хотя вышла она позже, и написана авторомъ въ то время, когда его талантъ былъ меньше развитъ.

Гауптмана и онъ не могъ успокоиться до тѣхъ поръ, пока не сдѣлалъ изъ этой безсмыслицы другого настоя. „Стрѣлочникъ Тиль“ лишился жены при рожденіи первенца. Находясь въ постоянной отлучкѣ по службѣ, онъ долженъ былъ жениться второй разъ, чтобы ребенку была кормилица. Мачиха, вскорѣ родившая супругу собственнаго ребенка, плохо обращалась съ сиротою. Не смотря на предостереженія Тиля, она оставила однажды пасынка на полотнѣ желѣзной дороги безъ присмотра и онъ былъ раздавленъ поѣздомъ. За это Тиль убиваетъ топоромъ ночью жену и ребенка отъ второго брака самымъ ужаснѣйшимъ образомъ и попадаетъ, какъ буйно-помѣшанный, въ сумасшедшій домъ. Приведу нѣсколько чертъ изъ описанія Тиля: „Въ темнотѣ... сторожевая будка стала капеллой. Положивъ передъ собою на столъ выпѣвѣвшую фотографію усопшей, псалтырь и библію, онъ читалъ и пѣлъ въ продолженіе всей длинной ночи. Только отъ шума проходящихъ иногда поѣздовъ онъ прерывалъ себя и впадалъ тогда въ экстазъ, выражавшійся въ его фигурѣ, во время котораго онъ видѣлъ передъ собою живой образъ мертвой. „Телеграфные столбы въ южномъ концѣ округа издавали особенно полный и красивый аккордъ... Будка, полная свѣту, была похожа на церковь. По временамъ ему слышался голосъ, напоминавшій ему голосъ умершей жены. Онъ представлялъ себѣ хоръ блаженныхъ духовъ, въ которомъ были замѣшаны и ея голосъ, и это представленіе будило въ немъ тоску, умиленіе до слезъ“. „Молодая Германія“ говоритъ презрительно объ Ауэрбахѣ, потому что онъ изображаетъ сентиментальныхъ крестьянъ. Но найдется ли у Ауэрбаха такое сахарное сентиментальничанье, какъ этотъ сторожъ „реалиста“ Гауптмана, прислонившійся къ телеграфному столбу и отъ его звуковъ умилившійся до слезъ? Далѣе мѣсто (стр. 22—23), гдѣ сказано, что Тиль при взглядѣ на свою жену пришелъ въ любовный восторгъ, заимствованы Гауптманомъ изъ романовъ Зола, а не изъ наблюденія надъ нѣмецкими будочниками. Или можетъ быть, онъ вообще хотѣлъ изобразить душевно-больного, какимъ онъ былъ до помѣшательства? Тогда эта картина изображена совсѣмъ невѣрно.

И что за стиль въ этой злосчастной книгѣ! „Сосны... скрипя протягивали другъ другу свои вѣтви“ и „громкій скрипъ, трескъ, стукъ, и звонъ“ (поѣзда) „далеко пронизывали вечернюю тишину“. Одно и тоже слово для обозначенія трущихся вѣтвей и идущаго поѣзда! „Два красныхъ, круглыхъ огня“ (локомотива) „пронизывали тьму, какъ выпуклые глаза гигантскаго чудовища“. „Солнце... блестящее при восходѣ подобно огромному кроваво-красному камню“. „Небо, какъ огромная, безукоризненно голубая кристалльная чаша, обнимало золотой свѣтъ солнца“. И еще разъ: „Небо, какъ чисто голубая, пустая кристалльная чаша“. Мѣсяцъ плылъ „подобно вымпелу надъ лѣсомъ“. Какъ можетъ писатель, уважающій себя, употреблять подобныя сравненія, которыхъ стыдился бы грамотный сапожникъ? Далѣе безчисленное количество небрежностей: „предъ его глазами потонули желтые огни, подобные свѣтиламъ“. Послѣдніе блестятъ не желтымъ

цвѣтомъ, а голубымъ. „Его стеклянные питомцы двигались непрерывно“. Подобнаго явленія еще никто никогда не видѣлъ <sup>1)</sup>.

Успѣхъ Гауптманна не давалъ покою Арно Гольцу и Иоганну Шлафу и оба они стали работать надъ подражаніемъ его „Vor Sonnenaufgang“. Соединенными усиліями они создали „Familie Selicke“,—драму, въ которой также ничего не происходитъ, въ которой также рѣчь идетъ объ алкоголизмѣ, и дѣйствующія лица также говорятъ на жаргонѣ. Для „современности“ выставленъ кандидатъ богословія, ставшій свободомыслящимъ, но не смотря на это желающій получить мѣсто пастора. Я упоминаю это ничего не говорящее издѣліе только потому, что реалисты стараются выдать его за великое произведеніе.

Такъ выглядятъ реалисты „молодой Германіи“, къ которымъ я, какъ сказано, не могу причислить дѣйствительнаго, настоящаго писателя Гергардта Гауптманна. Они не знаютъ нѣмецкаго языка, неспособны понимать жизнь, ничего не знаютъ, ничему не учатся, ничего не испытали и не пережили, имъ нечего сказать: ни истиннаго чувства, ни индивидуальной мысли, но они все пишутъ, и ихъ писанія въ широкихъ сферахъ считаются единственно нѣмецкой литературой—современной и будущей. Они подражаютъ самымъ отжившимъ заграничнымъ модамъ и хотятъ быть новаторами и оригинальными геніями. Они вѣшаютъ передъ своею лавочкой вывѣску „къ современности“, между тѣмъ у нихъ вы ничего не найдете кромѣ поношенныхъ штановъ самыхъ старыхъ заурядныхъ писателей. Изъ всего, что имъ до сихъ поръ напечатано, можно выбрать двѣ строчки, гдѣ шепчется о темныхъ социалистическихъ „ученіяхъ“ и „трудахъ“ героя, и останется одна жалкая грязь безъ красокъ, вкуса и отношенія ко времени и пространству, которую уже пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ всякій сколько нибудь добросовѣстный редакторъ бросалъ подъ столъ. Они хорошо это знаютъ и чтобы предупредить тѣхъ, кто захотѣлъ бы раскрыть ихъ болтовню, они приписываютъ ее достойному, ими оклеветанному, писателю. Напр., Гансъ Меріанъ <sup>2)</sup> осмѣливается утверждать: „Шпильгагенъ воображаетъ, будто онъ беретъ основныя идея и конфликты своихъ романовъ изъ крупныхъ современныхъ вопросовъ. Но при ближайшемъ разсмотрѣніи вся эта пышность превращается въ пустое словопрение“. И: „Создающаго теперь въ реализмѣ фабрику романовъ à la Поль Виндау мы упрекнемъ въ неправильномъ, ложномъ реализмѣ“. И тотъ же Гансъ Меріанъ считаетъ реализмъ Макса Крейцера и Карла Блейбтрея настоящимъ, ихъ исторіи париж-

<sup>1)</sup> Наибольше достойно вниманія изъ произведеній Гауптманна, напечатанныхъ послѣ „Ткачей“, заслуживаетъ „Hannele Mattern“. Здѣсь есть прекрасныя лирическія мѣста. Оно вѣрно и точно изображаетъ ассоціаціи идей большого ребенка въ бреду. Но оно вмѣстѣ съ тѣмъ является вѣхой на пути, по которому Гауптманнъ пошелъ отъ своего первоначальнаго „реализма“ къ туманному мистицизму и символизму.

<sup>2)</sup> Hans Merian, Die sogenannten „Jungdeutschen“ in unserer zeitgenössischen Literatur. Zweite Auflage. Leipzig. безъ обозначенія года. P. 12. 14.



скихъ кокотокъ въ Берлинѣ и приключенія мифическихъ кельнершъ „почерпнуты изъ великихъ вопросовъ времени“!

Движеніе „молодой Германіи“—незамѣнимый примѣръ того литературнаго образованія шаекъ, которое я описалъ въ первой книгѣ. Они начинаютъ съ основанія по всей формѣ. Человѣкъ назначаетъ себя атаманомъ и вербуетъ товарищей, чтобы грабить съ ними въ Богемскихъ лѣсахъ. Цѣль преслѣдуется таже, какъ и всякой другой преступной шайкой, *mafia*, *mala vita*, *мапо пегга* и т. д.: жить хорошо, не работая, путемъ ограбленія богатыхъ и контрибуціи застрашенныхъ бѣдняковъ, мести отдѣльныхъ членовъ лицамъ, которыя ихъ ненавидятъ, завидуютъ имъ или боятся, безнаказанное удовлетвореніе ограниченной нравственностью и закономъ, склонности къ пороку и преступленію какъ *Mala vita* и т. п., пронизываютъ свои стремленія хорошими словами, разсчитанными на вкусъ и взгляды неразумной, легковѣрной массы. Они всегда утверждаютъ, что ими руководитъ желаніе по возможности сгладить несправедливости судьбы, отнимая излишекъ у богатыхъ, чтобы помочь изъ него въ недостатокъ бѣднымъ. Точно также эта литературная шайка проповѣдуетъ истину, свободу и прогрессъ—съ грязными любовными исторіями кельнершъ и проститутокъ. Чтобы стать ихъ сочленомъ, нужно выдержать формальное испытаніе: прежде всего нужно публично признать негодность признанныхъ и заслуженныхъ писателей. Затѣмъ онъ долженъ признать одного или нѣсколькихъ членовъ шайки гениями и, наконецъ, написать въ стихахъ или прозѣ доказательство того, что онъ тоже умѣетъ выразить на языкѣ сутенера примитивныя идеи и чувства. Какъ разбойничьи банды имѣютъ свои складочныя углы, своихъ укрывателей и своихъ тайныхъ членовъ среди членовъ банды, среди членовъ общества, такъ и эта шайка владѣетъ собственной газетой, своимъ определенными издателями, которые имъ—по крайней мѣрѣ, сначала—во всемъ вѣрятъ, и тайныя сношенія съ критиками болѣе достойныхъ газетъ. Ихъ вліяніе распространяется за границу,—явленіе, часто наблюдаемое при образованіи шаекъ и установленное ясно Ломброзо. „Маттоиды“,—говоритъ онъ <sup>1)</sup>,—„въ противоположность гениямъ и безумнымъ, соединяются общностью интересовъ и ненависти; они образуютъ родъ союза свободныхъ камешниковъ тѣмъ болѣе могущественнаго, чѣмъ онъ менѣе планомѣренъ; онъ основанъ на потребности, заботѣ въ возраженіи, которая обща имъ всѣмъ и они неукоснительно преслѣдуютъ ее всюду, противясь смѣшному: они ненавидятъ другъ друга, но все же стоятъ одинъ за другого“.

Кто стоитъ на сторожевой будкѣ, открывающей болѣе или менѣе широкой горизонтъ, тотъ легко можетъ замѣтить работу посредниковъ этого интернаціональнаго союза свободныхъ камешниковъ. Уже упомянутый Т. де Визева, изобразившій французамъ Нитцше, какъ самаго выдающагося писателя, какого только производила Германія во второй половинѣ столѣтія, говоритъ въ „*Revue bleue*“, и „*Figaro*“ о Конрадѣ Альберти, какъ о

<sup>1)</sup> C. Lombroso et R. Laschi, *Le crime politique* etc. 2. Band, P. 116.

„поэтъ“, который овладѣетъ Германіей двадцатаго столѣтія. Листки символиствъ и инструментиствъ, „Revue blanche“, „Plume“ и „Mercure de France“ переводятъ „Erlebten Gedichte“ О. И. Бирбаума, образцы которыхъ я приводилъ. Съ другой стороны О. I. Гартлебенъ предлагаетъ нѣмецкой публикѣ такъ называемыя „Gedichte“ бельгійскаго символиста Альберти Жиро, „Pierrot lunaire“, а Г. Вахъ восторженно отзывается о парижскихъ мистикахъ. Ола Гансонъ болтаетъ передъ нѣмецкими читателями о сѣверныхъ реалистахъ и провозвѣщаетъ въ Швеціи радостное извѣстіе младо-нѣмецкаго реализма и т. д.

Ихъ стремленія, даже для шайки ихъ, приносятъ немного пользы, а нѣмецкой литературѣ они наносятъ тяжелый вредъ. Они оказываютъ неизгладимое вліяніе на молодыхъ людей послѣдняго поколѣнія. Если принять въ соображеніе огромныя трудности, преодоляемыя новичкомъ, выступающимъ на литературное поприще безъ связей, безъ охранителей и защитниковъ, то станетъ понятнымъ, что начинающіе должны испытывать тяготѣніе вступить въ общество, владѣющее могущественной организаціей, собственными газетами и издателями и опредѣленной публикой,—общество, всегда готовое выступить за своихъ членовъ съ рѣшительностью и пріемами записныхъ бойцовъ. Какъ членъ шайки онъ освобожденъ отъ всѣхъ трудностей начала. Только самые крупныя таланты, какъ напр., Германъ Зудерманъ, стыдятся облегчить себѣ борьбу подобнымъ товариществомъ. Остальные охотно вступаютъ въ шайку. Слѣдствіемъ этого было то, что совершенно непригодные люди соблазнялись литературой, между тѣмъ какъ никогда не выступили бы передъ публикой, и что, съ другой стороны, можетъ быть даже не полныя бездарности находили для своей болтовни газеты и издателей, появленіе которыхъ до образованія шайки было немыслимо. Одни бросались въ писательство въ возрастѣ, когда еще долго надо учиться, и оставались вслѣдствіе этого невѣждами, незрѣлыми и поверхностными, другіе приобрѣтали привычку распутства и небрежность, въ которую они никогда не впали бы, еслибы они, не соблазняясь удобствомъ организованной шайки, подавили въ себѣ нѣкоторые позывы и старательно развивали свои способности. Прочность этой литературной маффіи поддерживала подражательность противъ самостоятельнаго, толпу противъ личности, бумагомарателя противъ художника и пошлое противъ изящнаго,—такъ сильно, что борьба была почти невозможна. Теперь почти немыслимо въ Германіи пробиться писателю, идущему своей дорогой: критика въ рукахъ шайки; она упорно замалчиваетъ независимость или бранитъ и поноситъ ее. Последняя еле находитъ себѣ издателя. Ни одинъ театръ не принимаетъ ея, ни одна газета не печатаетъ. Даже книгопродавцы безсознательно участвуютъ въ заговорѣ. Книгопродавцы черпаютъ свои литературныя познанія почти всегда изъ газетъ и рекомендуютъ настойчиво публикѣ, довольно часто обращающейся къ нимъ за совѣтомъ, только книги этихъ господъ, въ то время какъ всѣ другія произведенія нѣмецкаго книжнаго рынка разсматриваются

просто, какъ негодныя. и на вопросъ пожимая плечами, отвѣчаютъ: „книга господина X? Она ничего не стоитъ: X.—не современенъ“.

Что это вооруженное нападеніе на нѣмецкую литературу.—употребляя выраженіе Ницше: это возстаніе рабовъ въ литературѣ,—до нѣкоторой степени имѣло успѣхъ, это находитъ свое объясненіе въ состояніи Германіи. Нѣкоторое пониженіе въ нашей литературѣ въ 1870 г. фактически наступило. Да это иначе и не могло быть. Нѣмецкій народъ долженъ былъ употребить всю свою силу на то, чтобы ужасной войной добиться своего объединенія. Но въ одно и тоже время стоять во славу всемірной исторіи и вести художественную жизнь—невозможно: одно или другое. Во Франціи Наполеона I самыми выдающимися писателями считались Абуать Делиль, Эсменаръ, Парсеваль де Грандмезанъ и Фонтанъ. Германія Вильгельма I, Мольтке и Бисмарка, не могла произвести на свѣтъ ни Гете, ни Шиллера. Это объясняется вовсе не мистически. Изъ выдающихся событій, которыя переживаетъ народъ и которымъ онъ способствуетъ, онъ пріобрѣтаетъ себѣ критеріи, неприменимыя ко всѣмъ художественнымъ произведеніямъ; поэты и художники, и особенно болѣе талантливые и добросовѣстные среди нихъ, чувствуютъ себя подавленными и теряющими духъ, часто совсѣмъ уничтоженными. вслѣдствіе двойного сознанія, что ихъ народъ только разсѣянно и поверхностно просматриваетъ ихъ труды и что ихъ созданія не могутъ выдѣлиться при величій проходящихъ передъ глазами историческихъ процессовъ. Въ это критическое время переходнаго умственнаго утомленія выступила шайка „молодой Германіи“ и ей пришлось очень кстати, что даже достойные и разумные люди должны были признать справедливыми нападки на многихъ корифеевъ тогдашней литературы.

Но другая и болѣе важная причина успѣха—анархія, господствующая теперь въ нѣмецкой литературѣ. Наше литературное государство не управляется и не защищается. Оно не имѣетъ правительства и полиціи, и поэтому маленькая, но сплоченная шайка злодѣевъ можетъ распоряжаться въ немъ по произволу. Наши учителя не заботятся о молодомъ поколѣніи, какъ это бывало раньше. Имъ нѣтъ дѣла до обязанности, которую возлагаетъ на нихъ успѣхъ и слава. Однако, я боюсь, что моя мысль будетъ непонята. Я далекъ отъ мысли превратить литературу въ цехъ и требовать введенія учениковъ и подмастерьевъ. (Фактически всякое новое поколѣніе даже безсознательно образуется на произведеніяхъ своихъ духовныхъ предковъ.) Но они не должны быть равнодушны къ тому, что происходитъ. Они—духовные вожди народа. Они владѣютъ его духомъ, они обязаны облегчить начало новичкамъ и вывести ихъ въ свѣтъ. Такимъ образомъ были бы достигнуты: непрерывность въ развитіи, образованіе литературной традиціи, уваженіе и благодарность къ старшимъ, раннее строгое подавленіе совершенно негодныхъ, сохраненіе силъ, которыя теперь должны тратиться молодой писателемъ на то, чтобы проложить себѣ путь. Но наши литературные заправилы этого не понимаютъ. Всякій думаетъ только о себѣ и страстно ревнуетъ

работающихъ съ нимъ на одномъ поприщѣ. Никто не говоритъ себѣ, что въ духовномъ концертѣ великаго народа достаточно мѣста для многихъ различныхъ художниковъ, играющихъ каждый на своемъ инструментѣ. Никто не понимаетъ, что послѣ него еще родятся новые таланты, что онъ не можетъ помѣшать этому и что онъ приуготовитъ себѣ лучшую старость, если онъ тѣмъ, кто послѣдуетъ ему въ расположеніи читателей, очистить дорогу вмѣсто того, чтобы злобно его загрызть. Кто изъ насъ получилъ хоть слово поощренія отъ литературныхъ свѣтиль? Кому изъ насъ они выразили участіе или благожелательство? Никто изъ насъ имъ ничего не долженъ, никто не чувствуетъ себя обязаннымъ и вступиться за нихъ, а когда шайка, на подобіе разбойничьей, набросилась на нихъ, чтобы свергнуть ихъ и стать на ихъ мѣсто, ни одна рука не поднялась въ ихъ защиту и имъ было жестоко отомщено за то, что они жили и дѣйствовали одиноко, тайно враждовали другъ съ другомъ, не обращая вниманія на молодое поколѣніе, равнодушные къ вкусу народа, когда онъ не обращался къ ихъ собственнымъ произведеніямъ.

И какъ у насъ уже нѣтъ геронтовъ, точно такъ же нѣтъ и критической полиціи. Рецензентъ можетъ превозносить самое ничтожество, можетъ замалчивать высшій образецъ искусства и топтать его въ грязь, онъ можетъ выдать за содержаніе книги то, о чемъ тотъ не думалъ, никто его не привлекаетъ къ отвѣту, ничто не клеймитъ его неспособности, его безстыдства или лживости. А публика, не руководимая и не поддерживаемая своими геронтами, не оберегаемая своими критическими городовыми,—предопредѣленная жертва всѣхъ ярмарочныхъ крикуновъ и проходимцевъ.

КНИГА ПЯТАЯ.

ДВАДЦАТЫЙ ВѢКЪ.

## Прогнозъ.

Окончено наше продолжительное печальное странствование по больницѣ, которую представляетъ собою, если не все культурное человѣчество, то, по крайней мѣрѣ, высшіе слои населенія крупныхъ городовъ. Мы наблюдали разнообразныя воплощенія, принимаемыя вырожденіемъ и истеріей въ искусствѣ, поэзіи и философіи современности. Въ качествѣ главныхъ проявленій умственного разстройства нашихъ современниковъ въ этихъ областяхъ является мистицизмъ, выражающій неспособность къ вниманию, ясному мышленію и господству надъ эмоціями, и ослабленіе высшихъ мозговыхъ центровъ, эготизмъ, составляющій результатъ дурно руководимыхъ чувственныхъ нервовъ, притупленныхъ центровъ воспріятія, извращения инстинктовъ изъ стремленія къ достаточно сильнымъ впечатлѣніямъ и сильнаго преобладанія органическихъ впечатлѣній надъ представленіями, ложный реализмъ, исходящій отъ извращенныхъ эстетическихъ теорій и выражающійся въ пессимизмѣ и непреодолимой склонности къ сильнымъ представленіямъ и самымъ пошлымъ, неприличнымъ способамъ выраженія. Во всѣхъ трехъ направленіяхъ мы находимъ въ концѣ концовъ одни и тѣ же составныя части: мозгъ, не способный къ регулярной работѣ, отсюда слабость воли, невнимательность, преобладаніе эмоціи, недостатокъ въ способности познания, отсутствіе сочувствія, недостатокъ участія къ міру и человѣчеству, искаженіе понятія о долгѣ и нравственности. Довольно непохожія другъ на друга клинически эти болѣзни — только различныя проявленія одного единственнаго основного состоянія — истощенія, и должны быть психіатромъ отнесены въ общую группу меланхоліи, являющейся формой истощенія центральной нервной системы.

Поверхностные и недобросовѣстные критики приписали мнѣ утвержденіе, будто вырожденіе и истерія — порожденія нашего времени. Внимательный и добросовѣстный читатель засвидѣтельствуетъ, что я никогда не говорилъ такой безсмыслицы. Истерія и вырожденіе всегда существовали. Но прежде они встрѣчались обособленно и не достигали никакого значенія для жизни всего общества. Только глубокое утомленіе, испытываемое нашимъ поколѣніемъ, непосильная тяжесть органическихъ требованій, вы-

ставляемыхъ появившимися изобрѣтеніями и новинками, создали благопріятныя условія для распространенія этихъ болѣзней и возможной ихъ опасности для культуры. Нѣкоторые микроорганизмы, вызывающіе смертельныя болѣзни, напр., холерная бацилла, также всегда существовали, но эпидеміи появлялись только тогда, когда появились обстоятельства, облегчавшія ихъ быстрое размноженіе. Точно также въ тѣлѣ всегда существуютъ паразиты, которые вредятъ ему только тогда, когда въ него попадетъ другой грибокъ и способствовалъ его развитію. Въ насъ всегда живутъ стафилококки и стрептококки, но только появленіе бациллы инфлюэнцы способствуетъ ихъ развитію и вызываетъ смертельныя нагноенія. Такимъ образомъ, паразитъ подражанія въ искусствѣ и литературѣ только тогда опасенъ, когда своеобразныя, идущіе собственными путями сумасшедшіе отравятъ ослабленный утомленіемъ духъ времени и сдѣлаютъ его неспособнымъ къ противодействию.

Мы находимся въ періодѣ развитія тяжелой умственной болѣзни народа, въ родѣ черной чумы, вырожденія и истеріи и, естественно, что со всѣхъ сторонъ тревожно спрашиваютъ: „Что будетъ дальше?“

Этотъ вопросъ объ исходѣ предъявляютъ врачу во всѣхъ тяжелыхъ случаяхъ, и хотя предсказывать рисковано, смѣло и ненаучно, онъ не можетъ уклониться отъ необходимости поставить прогнозъ. Впрочемъ, полного произвола здѣсь нѣтъ и тщательное наблюденіе всѣхъ признаковъ, опирающееся на опытъ, позволяетъ въ сущности правильно заключить на счетъ будущаго развитія болѣзни.

Возможно, что зараза еще не достигла своего кульминаціоннаго пункта. Если она усилится, станетъ шире и глубже, то отдѣльныя явленія, существующія уже теперь, какъ исключенія и только признаки, сильно увеличатся и послѣдовательно разольются, а другія, теперь существующія только у посаженныхъ въ дома умалишенныхъ, станутъ обычнымъ явленіемъ въ цѣлыхъ классахъ населенія. Жизнь тогда можетъ представить слѣдующую картину:

Въ каждомъ большомъ городѣ—клубъ самоубійць. На ряду съ этимъ возникаютъ клубы для взаимнаго убійства черезъ задушеніе, повѣшеніе и подкальваніе. На мѣсто теперешнихъ трактировъ возникнутъ особыя учрежденія для потребленія эфира, хлораля, нефти и гашиша. Число лицъ, страдающихъ извращеніемъ вкуса и обонянія, настолько увеличится, что будетъ выгодно, открывать для нихъ заведенія, гдѣ будутъ пробовать изъ богатыхъ сосудовъ всякаго рода нечистоты, и въ обстановкѣ, не нарушающей требованій ихъ эстетическаго чувства и ихъ привычки къ удобствамъ, они смогутъ вдыхать ароматы разложенія и экскрементовъ. Образуются много новыхъ профессій: профессія вспрыскивателей морфія и кокаина, поденщиковъ, проводящихъ лицъ, страдающихъ боязнью мѣста черезъ перекрестки и при переходѣ улицы, спутниковъ, сильнымъ поддакиваніемъ успокаивающихъ подверженныхъ маніи сомнѣнія, когда они начнутъ ощущать припадокъ боязни и т. д.

Широкое распространение нервной раздражительности заставитъ признать необходимость нѣкоторыхъ предохранительныхъ мѣръ. Послѣ же того, какъ часто станеть повторяться тотъ фактъ, что возбужденныя особы не смогутъ сдерживать своихъ навязчивыхъ побужденій и будутъ стрѣлять изъ своего окна духовыми ружьями или даже открыто убивать уличныхъ мальчишекъ за то, что тѣ свистятъ или просто кричатъ, что они врываються въ чужія квартиры, гдѣ происходятъ ученическія игра или пѣніе, что они бросаютъ динамитныя бомбы подъ вагоны трамвая, кондукторы которыхъ звонилъ или свистѣлъ,—когда все это станеть обычнымъ явленіемъ, закономъ будетъ воспрещено свистѣть и звонить на улицахъ, для упражненія въ игрѣ и пѣніи будутъ выстроены особыя зданія такъ, чтобы изъ нихъ ни одинъ звукъ не проникалъ наружу, экипажи не должны будутъ производить ни малѣйшаго шума и въ то же время будетъ установленъ тяжелый штрафъ за владѣніе воздушными ружьями. Такъ какъ лай собакъ по сосѣдству доводилъ многихъ до сумасшествія и самоубійства, въ городахъ можно будетъ держать этихъ животныхъ только тогда, когда они будутъ сдѣланы нѣмыми посредствомъ перерѣзыванія соответствующаго нерва. Новое законодательство о печати запретитъ газетамъ самымъ строгимъ образомъ подробныя сообщенія о насиліяхъ или самоубійствахъ при особенныхъ условіяхъ. Редакторы будутъ отвѣтственны за всѣ преступленія, совершенныя въ подражаніе ихъ описаніямъ.

Половая психопатія всякаго рода сдѣлается настолько всеобщей и могущественной, что нужно будетъ приспособить къ ней нравы и законы. Появятся новыя моды. Мазохисты или пассивисты, образующіе большинство людей, одѣнутся въ платья, напоминающія своимъ цвѣтомъ и покроемъ женскія. Женщины, желающія нравиться мужчинамъ, будутъ носить мужскія платья, монокли, сапоги со шпорами и хлыстомъ и показываться на улицахъ только съ толстой сигарой во рту. Требованія лицъ съ извращеннымъ половымъ чувствомъ возрастуть до того, что будетъ законодательно разрѣшенъ бракъ лицамъ одного пола <sup>1)</sup>, такъ какъ ихъ будетъ такъ много, что при выборахъ они дадутъ большинство представителей своего направленія. Садисты, занимающіеся скотоложствомъ, нозофилы и некрофилы и т. п. получатъ законную возможность удовлетворять своему влеченію. Стыдливость и приличіе стануть вымершимъ суевѣріемъ прошлаго, которое будетъ встрѣчаться только какъ атавизмъ и у жителей отдаленныхъ деревень. Сладострастное убійство будетъ рассматриваться какъ болѣзнь и лечиться операціей и т. д.

Способность къ вниманію и соображенію такъ ослабѣетъ, что обученіе въ школахъ нельзя будетъ продолжать болѣе двухъ часовъ въ день, а общественныя развлеченія, театръ, концертъ, рефераты и т. п. будутъ длиться не болѣе получаса. Впрочемъ, въ учебной программѣ умственное образованіе почти совершенно вытѣснится и большая часть времени будетъ удѣлена физиче-

<sup>1)</sup> Dr. R. v. Krafft-Ebing, Neue Forschungen u. s. w. 2. Aufl. S. 109, 118. Его же Psychopathia Sexualis и т. д. 3. Aufl. S. 65.



скимъ упражненіямъ, на сценѣ будутъ нравиться только представленія откровенныхъ эротиковъ и кровавыхъ преступленій, для которыхъ найдутся добровольныя жертвы, съ удовольствіемъ готовые умереть подъ рукоплесканіями восторженныхъ зрителей.

Старыя религіи не будутъ больше имѣть послѣдователей. На мѣсто ихъ появится огромное количество спиритическихъ общинъ, содержащихъ на мѣсто священниковъ—пророковъ, заклинателей мертвецовъ, волшебниковъ, астрологовъ, хиромантиковъ и такъ далѣе.

Книги, похожія на современныя, совсѣмъ будутъ не въ модѣ. Онѣ будутъ печататься на черной, голубой и золотой бумагѣ красками другого цвѣта; несвязныя слова, часто даже слоги, даже однѣ только буквы и числа, съ символическимъ значеніемъ—станутъ содержаніемъ книги: по цвѣту бумаги и печати, по формѣ бумаги, величинѣ и роду употребляемаго шрифта нужно будетъ разгадывать ихъ. Писатели, жаждущіе популярности, облегчатъ пониманіе ихъ тѣмъ, что будутъ снабжать сочиненіе символическими арабесками и пропитывать бумагу какими нибудь духами. Но у такихъ цѣнителей и знатоковъ это будетъ считаться пошлымъ и будетъ мало цѣниться. Нѣкоторые поэты, печатающіе только отдѣльныя буквы или все произведеніе которыхъ будетъ состоять изъ цвѣтныхъ листовъ безъ содержанія, будутъ вызывать огромный восторгъ. Возникнутъ общества для ихъ объясненія и ихъ воодушевленіе будетъ такъ фанатично, что они будутъ вступать другъ съ другомъ въ столкновенія, кончающіяся убійствомъ.

Легко развить эту картину еще дальше; въ ней нѣтъ ни одной изобрѣтенной черточки, напротивъ, всѣ подробности собраны изъ уголовныхъ и психіатрическихъ специальныхъ произведеній и изъ наблюденій надъ особенностями неврастениковъ, истериковъ и маттопцовъ. Таково будетъ въ близкомъ будущемъ состояніе культурнаго человѣчества, если утомленіе, нервное истощеніе и обусловленныя ими болѣзни и вырожденіе будутъ прогрессировать.

Случится ли это? Нѣтъ; я думаю, что нѣтъ. Я исхожу изъ основанія, которое трудно опровергнуть. Дѣло въ томъ, что человѣчество еще не достигло конца своего развитія, и чрезмѣрное напряженіе двухъ или трехъ поколѣній не могло до конца исчерпать всю его жизненную силу. Человѣчество еще не состарилось. Оно молодо, а для молодости минута переутомленія не смертельна. Оно можетъ оправиться снова. Человѣчество, подобно огромному потоку лавы, интенсивно вырывающейся изъ кратера непрерывно дѣйствующаго вулкана. Самый внѣшній слой раскалывается на холодные, стекловидные шлаки, но подъ этой мертвой корою быстро и ровно течетъ масса въ своемъ жизненномъ пылѣ.

Пока жизненная сила индивида, какъ и рода, не вполне исчерпана, организмъ дѣлаетъ напряженіе, приспособляясь активно или пассивно, старается измѣнить вредныя условія или направить ихъ такъ, чтобы не слишкомъ измѣняя претерпѣть какъ можно меньше вреда. Дегенераты, истерики, неврастеники

неспособны къ приспособленію. Поэтому, имъ предопредѣлено исчезнуть. Они безъ всякаго спасенія обречены на гибель, потому что они не знаютъ, какъ устоять противъ дѣйствительности. Они погибли: одни ли они на свѣтѣ или рядомъ съ ними есть еще другіе здоровые и выздоравливающіе или, по крайней мѣрѣ, излечимые.

Они обречены на гибель, когда они одни: враждебные по отношенію къ обществу, невнимательные, лишенные способности разсуждать и предусматривать событія, они не способны ни къ какому полезному напряженію для себя, а еще менѣе къ общей работѣ, требующей послушанія, дисциплины и полномѣрнаго исполненія обязанностей. Они расточаютъ свою жизнь, одинокую, безплодно эстетическую мечтательность и разслабляющіе ихъ перлы наслажденія,—единственное, къ чему еще годны ихъ регрессирующіе органы. Какъ летучія мыши въ старыхъ башняхъ, такъ и они живутъ въ гордомъ зданіи найденной ими готовой культуры, но они сами не строятъ ничего новаго и не могутъ устоять противъ разрушенія. Они присосались къ труду, накопленному для нихъ предыдущими поколѣніями, но какъ только наслѣдство изсякнетъ, они должны будутъ умереть съ голоду.

Но еще вѣрнѣе и быстрѣе они погибаютъ, когда они живутъ на свѣтѣ не одни, когда рядомъ съ ними живутъ еще здоровые. Тогда они выдерживаютъ борьбу за существованіе и имъ нѣтъ времени погибнуть въ постепенномъ паденіи въ своей собственной неспособности къ творчеству. Нормальный человѣкъ съ ясными чувствами, послѣдовательнымъ мышленіемъ, здравымъ сужденіемъ и сильной волей, видитъ тамъ, гдѣ дегенератъ шупаетъ, онъ дѣйствуетъ планомѣрно тамъ, гдѣ тотъ фантазируетъ и мечтаетъ, онъ вытѣсняетъ его безъ труда изъ всѣхъ мѣстъ, гдѣ быють жизненные ключи природы и владѣя всѣми сокровищами этой земли, онъ изъ презрительнаго состраданія оставляетъ на долю немощнаго дегенерата свободное мѣсто въ больницѣ, сумасшедшихъ домахъ и тюрьмахъ. Вообразите себѣ болтающаго ерунду „Заратустру“ Нитше въ мѣстѣ съ его картонными львами, орлами и эмѣями изъ игрушечнаго магазина, или бодрствующаго ночью, наслаждающаго запахомъ и вкусомъ, Дезесента декадентовъ или „сильнаго въ одиночествѣ“ Штокмана и самоубійцу Росмера у Ибсена,—вообразите себѣ ихъ въ борьбѣ съ человѣкомъ, рано встающимъ и не устающимъ въ продолженіе дня, имѣющимъ свѣтлую голову, здоровый желудокъ и сильные мускулы,—смѣшное зрѣлище!

И такъ, дегенераты должны вымереть, не могутъ приспособиться къ условіямъ природы и культуры, не могутъ устоять въ борьбѣ за существованіе противъ здоровыхъ. Но здоровые люди,—а массы народа заключаютъ ихъ въ себѣ еще неисчислимые милліоны,—быстро и легко приспособляются къ отношеніямъ, создаваемымъ новыми изобрѣтеніями человѣчества. Органически совершенно негодные въ томъ поколѣніи, которое было поражено этими открытіями, гибнутъ, становятся истеричными и неврастениками, производятъ на свѣтѣ дегенератовъ и кончаютъ ими свой родъ<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> В. А. Morel, *Traité des dégénérescences etc.* Paris, 1857. P. 81. „состояніе задержки въ развитіи и неплодотворность являются существенными признаками существъ, предназначенныхъ для полнаго вырожденія“.

а болѣе сильныя, хотя въ началѣ также смущены и утомлены, постепенно поднимаются, ихъ потомки осваиваются съ быстрымъ прогрессомъ, который должно совершить человѣчество, и вскорѣ его медленное дыханіе, его спокойное бѣненіе сердца докажетъ, что ему не стоитъ никакихъ напряженій, сдержанъ шагъ и идти впередъ спокойно. Такимъ образомъ конецъ двадцатаго вѣка увидить, вѣроятно, поколѣніе, которому безъ вреда можно будетъ читать въ день по нѣсколько газетъ, постоянно обращаться къ телефону, думать въ тоже время о всѣхъ пяти частяхъ свѣта, жить на половину въ вагонѣ желѣзной дороги или воздушнаго шара и поддерживать отношенія съ десятью тысячами знакомыхъ, друзей и товарищей. Среди миллионнаго населенія онъ будетъ испытывать полное удобство, а при своихъ желѣзныхъ первахъ онъ сможетъ отвѣчать на многочисленные запросы жизни безъ поспѣшности и раздраженія.

Если же новая культура окажется человѣчеству рѣшительно не подъ силу, и даже самыя сильныя въ родѣ не смогутъ продолжать своего развитія, тогда послѣдующія поколѣнія справятся съ ними другимъ способомъ: они ихъ просто отбросятъ. Въдѣ, человѣчество обладаетъ вѣрнымъ средствомъ защиты противъ нововведеній, возлагающихъ на его нервную систему непомерную тяжесть,—мизонензмъ, то инстинктивное, непреодолимое отвращеніе къ прогрессу и его трудностямъ, который тщательно изучилъ Ломброзо и далъ ему названіе <sup>1)</sup>). Мизонензмъ охраняетъ человѣка отъ измѣненій, внезапность и интенсивность которыхъ для него опасны. Но это у него не единственная форма противодѣйствія воспріятію новаго; онъ можетъ также отлиться въ другую форму, игнорированіе и постепенное ограниченіе изобрѣтеній, предъявляющихъ человѣку слишкомъ суровыя требованія. Мы знаемъ, что дикари вымираютъ, когда сила бѣлыхъ дѣлаетъ для нихъ невозможнымъ примкнуть къ ихъ культурѣ, но мы знаемъ также, что есть среди нихъ такія, которые спѣшатъ съ радостью разорвать принудительный для нихъ хомутъ образованія, лишь только прекращается насиліе. Напомню только рассказанную Дарвиномъ <sup>2)</sup> исторію одного дикаря Огненной земли Джемми Бутонъ, привезеннаго ребенкомъ въ Англію и тамъ воспитаннаго, въ перчаткахъ и лакированныхъ сапогахъ, не говоря о прочихъ принадлежностяхъ моды; лишь только онъ возвратился на родину, онъ тотчасъ сбросилъ иноземное образованіе, для котораго онъ не созрѣлъ, и опять сталъ дикимъ среди дикихъ. Во время переселенія народовъ варвары строили деревянные шалаши въ тѣни мраморныхъ дворцовъ покоренныхъ ими римлянъ и удерживали изъ нихъ учрежденій, изобрѣтеній, искусствъ и наукъ только то, что выносилось ими легко и съ удовольствіемъ. Стремленіемъ отбрасывать все негодное человѣчество обладаетъ теперь, какъ и прежде. Если слѣдующія поколѣнія найдутъ, что ходъ прогресса для нихъ слишкомъ быстръ,

<sup>1)</sup> C. Lombroso et R. Laschi, *Le crimine politique* и т. д. I томъ, P. 8 sq.

<sup>2)</sup> Ч. Дарвинъ, путешествіе на кораблѣ Бигль.

они спокойно откажутся отъ него на нѣкоторое время. Они будутъ по своему желанію отбрасывать его или останавливать. Уничтожать корреспонденцію, закроютъ желѣзныя дороги, выведутъ изъ частнаго употребленія телефоны и сохранятъ ихъ только для государственныхъ цѣлей, замѣнятъ ежедневныя газеты недѣльными, переѣдутъ изъ большихъ городовъ въ деревню, замедлятъ перемѣны моды, упростятъ содержаніе дня и года, и дадутъ нѣкоторый покой первамъ. Такимъ образомъ, приспособленіе во всякомъ случаѣ воспослѣдуетъ или вслѣдствіе подъема нервной силы или вслѣдствіе отказа отъ возбужденій, которыя слишкомъ тяжелы для нервной системы.

Что касается будущаго искусства и литературы, которыми въ особенности было занято это изслѣдованіе, то оно рисуется намъ довольно ясно. Я воздержусь отъ искушенія заглянуть слишкомъ далеко. Иначе я, можетъ быть, доказалъ бы или показалъ бы большую вѣроятность того, что въ духовной жизни далеко передъ нами лежащихъ вѣковъ искусство и поэзія займутъ только очень небольшое мѣсто. Психологія учитъ насъ, что развитіе идетъ отъ инстинкта къ познанію, отъ эмоціи къ сужденію, отъ фантастической ассоціаціи идей къ регулярной. На мѣсто потока мыслей вступаетъ вниманіе, на мѣсто каприза, руководимаго разсудкомъ,—воля. Такимъ образомъ, наблюденіе все больше ожидаетъ силу воображенія, и художественный символизмъ, т. е. внесеніе ложныхъ личныхъ впечатлѣній въ явленія міра, все больше вытѣсняется уразумѣніемъ законовъ природы. Съ другой стороны, путь, по которому до сихъ поръ шла культура, даетъ представленіе о судьбѣ, которая можетъ постигнуть искусство и поэзію въ очень отдаленномъ будущемъ. То, что первоначально считалось важнѣйшимъ занятіемъ умственно развитыхъ людей, самыхъ зрѣлыхъ, лучшихъ и умныхъ членовъ общества, то постепенно превратилось во второстепенное времяпрепровожденіе и, наконецъ, въ дѣтскую забаву. Танцы считались раньше очень важнымъ дѣломъ. Они совершались въ торжественныхъ случаяхъ самыми важными воинами племени, при торжественныхъ церемоніяхъ, при жертвоприношеніяхъ и молитвахъ, какъ государственное установленіе первой важности. Теперь это только веселая забава дамъ и молодежи, а позже они станутъ дѣтскимъ развлеченіемъ, послѣднимъ атавистическимъ напоминаніемъ. Басни и сказки были высшимъ проявленіемъ чело-вѣческаго ума. Въ нихъ выражалась сокровеннѣйшая мудрость племени и драгоценнѣйшія его традиціи. Теперь онѣ представляютъ родъ литературы, имѣющей мѣсто только еще въ дѣтскихъ. Стихъ, который по своему ритму, образности выраженія и рѣчѣ, ведетъ свое тройное происхожденіе изъ возбужденій ритмически работающихъ подчиненныхъ органовъ, изъ ассоціаціи идей по внѣшнему сходству и изъ ассоціаціи идей по созвучію, первоначально былъ единственной формой литературныхъ произведеній: теперь онъ употребляется только для чисто эмоціональныхъ представленій, а для всѣхъ другихъ цѣлей онъ вытѣсненъ прозой и сталъ уже почти атавистическимъ способомъ выраженія. На нашихъ глазахъ совершается паденіе романа, едва удостоиваемаго внима-

ніемъ людьми серьезными и высокообразованными и обращающагося все больше къ молодежи и женщинамъ. Изъ всѣхъ этихъ примѣровъ можно правильно заключить, что черезъ нѣсколько столѣтій искусство и поэзія стануть чистымъ атавизмомъ и ими будетъ заниматься только самая эмоціонная часть человечества: женщины, молодежь, можетъ быть, даже дѣти.

Однако, какъ сказано: относительно ихъ настолько отдаленной судьбы я не рѣшаюсь сказать ничего больше этихъ многолетнихъ замѣчаній и займусь гораздо болѣе достовернымъ, болѣе близкимъ будущимъ.

Во всѣхъ странахъ эстетическіе теоретики и практики повторяютъ фразу, что теперешнія формы искусства превзойдены и не годны, что распространяется нѣчто новое, совершенно отличное отъ всего намъ извѣстнаго. Вагнеръ впервые заговорилъ о „художественномъ произведеніи будущаго“, и сотни бездарныхъ подражателей лепечуть за нимъ это слово. Нѣкоторые изъ нихъ даже хотять доказать себѣ и міру, что это какая нибудь безмысленная пошлость или претенціозная болтовня, которую они сами сочинили. Но всѣ эти разговоры о восходѣ солнца, утренней зарѣ, новой землѣ и т. д. только бредъ неспособныхъ къ мысленно дегенератовъ. Представленіе, что завтра утромъ въ половинѣ восьмого внезапно наступитъ ужасное, непредвидѣнное событіе, что въ ближайшей четвергъ однимъ ударомъ совершится полный переворотъ, что предстоитъ отправление, искупленіе, начало новой жизни: такое представленіе очень часто наблюдается у психопатовъ,—это мистическій бредъ. Дѣйствительность подобныхъ внезапныхъ переворотовъ не знаетъ. Даже великая революція во Франціи, непосредственно созданная нѣкоторыми помѣшанными въ родѣ Марата и Робеспьера, какъ доказалъ Тэнъ и дальнѣйшій ходъ исторіи, не распространилась далеко вглубь и измѣнилась скорѣе внѣшнія, чѣмъ внутреннія условія французскаго общества и организма. Всякое развитіе происходитъ постепенно: слѣдующій день является продолженіемъ предыдущаго, всякое новое явленіе порождается изъ стараго и сохраняется съ собою семейное сродство. „Можно сказать“, замѣчаетъ Ренанъ <sup>1)</sup> съ мягкой насмѣшкой:—„что молодые люди не читали ни исторіи философіи, ни проповѣдниковъ. Что было, то будетъ“. Искусство и поэзія завтрашняго дня во всѣхъ существенныхъ пунктахъ тѣже, что сегодня и были вчера, а судорожное исканіе новыхъ формъ ничто иное, какъ истерическое тщеславіе, вызывающее глупость и торгашество. Единственнымъ результатомъ его до сихъ поръ была дѣтская забава въ декламации съ цвѣтнымъ освѣщеніемъ и мѣняющимся запахомъ и атавистическая игра въ тѣни и пантомимы. Въ будущемъ также ничего серьезнаго не будетъ.

Новыя формы! Какъ будто старыя не настолько гибки и растяжимы, чтобы вмѣстить въ себя всякое чувство и всякую идею? Развѣ настоящій поэтъ когда нибудь найдетъ затрудненіе въ томъ, чтобы вмѣстить въ извѣстныя и старыя формы то, что его волновало и побуждало къ творчеству? Развѣ форма вообще

<sup>1)</sup> Ernest Renan. Feuilles détachées. Paris. 1892. Vorrede.

играетъ такую рѣшающую, предопредѣляющую и ограничивающую роль, какую ей приписываютъ слабыя головы и кропотели? Форма лирическаго стихотворенія идетъ отъ поздравительнаго рюмошлетства, работающаго по заказу, и объявляющаго о себѣ въ газетахъ „народнаго и къ случаю поэта“ до „Пѣсни о колоколѣ“ Шиллера; драматическая форма въ одно и тоже время включаетъ въ себя „Разбойника-живодера“ и „Фауста“ Гете; эпическая обнимаетъ „Божественную комедію“, Данте, „Въ любовномъ чадѣ“, Гайица Товота и „Ярмарку житейской суеты“, Теккерей. И тутъ еще блеютъ о „новыхъ формахъ“!.. Формы не даютъ неспособному таланта, а люди одаренные умѣютъ создать что нибудь цѣнное и въ старыхъ формахъ.

Самое важное всегда, чтобы было что сказать. Сдѣлаетъ ли онъ это лирически, драматически или эпически, это несущественно, и даже онъ едва ли будетъ чувствовать потребность выйти изъ этихъ формъ и придумывать что нибудь совершенно новое для облаченія своей мысли. Исторія искусства и поэзіи учить насъ сверхъ того, что въ теченіе трехъ тысячъ лѣтъ новыхъ формъ не найдено. Старыя формы даны свойствомъ самаго человѣческаго мышленія. Онѣ могли бы только тогда измѣниться, если бы форма нашего мышленія стала другою. Развитіе, естественно, продолжается, но оно касается внѣшностей, а не внутренней сущности. Живопись, напр., переходитъ послѣ стѣнной картины къ мольберту, скульптура послѣ стоящей статуи къ горельефу, а потомъ уже, вторгаясь въ область живописи, къ барельефу; драма, отказывается отъ сверхъестественнаго и признаетъ сжатое, точное изложеніе; эпосъ оставляетъ ритмическую рѣчь и пользуется услугами прозы и т. д. Въ такихъ деталяхъ развитіе, повидимому, будетъ продолжаться дальше, но основныя черты различныхъ способовъ выраженія человѣческаго чувства не измѣнятся.

Всякое расширеніе данныхъ художественныхъ рамокъ до сихъ поръ состояло въ внесеніи новаго содержанія и образовъ, а не въ изобрѣтеніи новыхъ формъ. Было прогрессомъ, когда Петроній въ повѣствовательной поэзіи на мѣсто боговъ и героевъ, поселявшихъ тогда эпосъ, въ „Пирѣ Тримальхио“ ввелъ будничныя фигуры современной римской жизни, или когда Нидерландцы XVII вѣка открыли для живописи, знавшей только религіозныя, мнѣстскія или государственныя событія, мѣръ ярмарокъ, парадныхъ празднествъ и кабаковъ. Квеведо и Мендоза, изображавшіе различную странствующую публику, Ричардсонъ, Фильдингъ, Руссо, сдѣлавшіе предметомъ своихъ романовъ вмѣсто необыкновенныхъ приключеній чувства и душевныя движенія среднихъ людей, Дидро, выведшіи на гордую французскую сцену „побочнаго сына“ и „отца семейства“, лицъ городского сословія, между тѣмъ какъ до него эта сцена допускала маленькихъ людей въ качествѣ комическихъ фигуръ, а въ серьезной драмѣ признавала только королей да вельможъ,—все они, очевидно, не придумали новыхъ формъ, но дали старымъ формамъ отличное отъ традиціоннаго содержаніе. Подобнаго рода прогрессъ мы наблюдаемъ въ искусствѣ и литературѣ нашихъ дней. Она сдѣлала пролетарія

правоспособнымъ въ области искусства и литературы. Рабочій показывается теперь не какъ грубое и смѣшное существо, не для передачи комическаго и отталкивающаго, но какъ существо серьезное, достойное нашего участія, глубоко трагическое. Это является обогащеніемъ искусства такимъ же, какъ было вовлеченіе въ кругъ его представленій мошенниковъ и авантюристовъ. Клариссъ, Томовъ, Джонсовъ, Юлій („Новая Элонза“), Вертеровъ. Констанцій („Побочный сынъ“) и т. п. Конечно, если нѣкоторыя путанныя головы восклицаютъ по этому поводу: „Искусство завтрашняго дня будетъ социалистическимъ!“, то они говорятъ беспочвенную безмыслицу. Соціализмъ—есть особое пониманіе законовъ, которые должны опредѣлять производство и распредѣленіе богатствъ. Искусству печего здѣсь создавать. Оно не можетъ касаться политики. Въ его обязанность не входитъ находить и предлагать рѣшеніе экономическихъ вопросовъ. Его задачей является изобразить вѣчно человѣческія причины социалистическаго движенія, страданія бѣдняковъ, ихъ стремленіе къ счастью, ихъ борьбу съ враждебными силами въ природѣ и въ общественномъ строѣ, ихъ могучее стремленіе изъ глубины въ высшую умственную и нравственную атмосферу. Если искусство исполняетъ эту задачу, если оно показываетъ пролетарія, какъ онъ живетъ и страдаетъ, какъ онъ чувствуетъ и умираетъ, то оно пробуждаетъ въ насъ чувство, которое и является матерью плановъ измѣненія, преобразованія и улучшенія. Тѣмъ, что искусство возбуждаетъ такія плодотворныя чувства и этимъ намѣреніе исцѣлить вредъ, оно помогаетъ прогрессу, но не социалистическими декламаціями и, можетъ быть, еще менѣе—изображеніемъ картинъ государства и общества будущаго. Ремесленный продуктъ Беллами „Looking backward.“ („Взглядъ назадъ“) находится внѣ искусства, и книги этого сорта, очевидно, не будутъ пользоваться успѣхомъ въ XX вѣкѣ. Превознесеніе пролетаріевъ Генкелемъ, распаркивающимся передъ четвертымъ сословіемъ, какъ виляющій хвостомъ блюдолизъ, какъ когда-то это дѣлалъ передъ королемъ, совершенно не годно для возбужденія участія и состраданія къ рабочему.

Также не искреннія любезности, въ родѣ Людвигъ Фульды въ „Потерянномъ раѣ“ или Эрнста фонъ Вильденбруха въ „Жаворонкѣ“ не могутъ ожидать настоящаго и полезнаго чувства.

Храбрая женщина, въ родѣ Минны Ветштейнъ-Адельтъ, поступившая поденщицей на фабрику и скромно описавшая, что она тамъ пережила <sup>1)</sup>, честный человѣкъ съ здоровымъ чувствомъ и теплымъ сердцемъ, какъ Горе <sup>2)</sup>, по собственному опыту изображающій бытъ фабричнаго рабочаго, даже Гергардтъ Гауптманнъ съ подмѣченными деталями „Ткачей“ дѣлаютъ для пролетаріата больше, чѣмъ всѣ Зола съ ихъ пустымъ теоретизированіемъ въ „Углекопахъ“ „Деньгахъ“ и чѣмъ всѣ Морисы съ ихъ высоко-

<sup>1)</sup> Fr. Dr. M. Wettstein-Adelt, 3 1/2 Monate Fabrikarbeiterin. Eine praktische Studie, 2. Auf. Berliu, 1892.

<sup>2)</sup> Kand. P. Göhre, 3 Monate Fabrikarbeiter und Handwerksbursche. Ein praktische studie. 1—10. Tausend Leipzig, 1892.

парными приемами о благородномъ рабочемъ, который подъ его перомъ становится карриатурой осмѣяннаго „благороднаго дикаго“ первобытныхъ лѣсовъ, какъ его изображали романтики, а особенно чѣмъ все писакп, вставляющіе въ свою грязь социалистическіе обороты рѣчи, какъ „современныя“ корни. „Хижина дяди Тома“ Бичеръ-Стоу не проповѣдуетъ противъ рабства и не даетъ никакихъ проектовъ его уничтоженія. Но книга заставила плакать миллионы и заставила ощущать рабство, какъ позоръ Америки, и этимъ въ сущности способствовала освобожденію негровъ. Искусство и поэзія могутъ сдѣлать для пролетаріевъ то, что сдѣлала Бичеръ-Стоу для негровъ Соединенныхъ Штатовъ. Большаго они не могутъ и не сдѣлаютъ.

Нерѣдко теперь приходится встрѣчать фразу: „Искусство и поэзія будущаго будутъ научны“. Тѣ, кто это говоритъ, дѣлаютъ необыкновенно гордую гримасу и, несомнѣнно, считаютъ себя передовыми и „современными“. Но тщетно я спрашивалъ себя: какой смыслъ въ этихъ словахъ? Не думаютъ ли эти господа, такъ дорожащіе наукой, что въ будущемъ скульпторы будутъ лѣпить микроскопы изъ мрамора, живописцы писать кровообращеніе, поэты излагать въ богатыхъ приемахъ теоремы Эвклида? Превосходно, но это даже и не было бы наукой, а только механической работой надъ внѣшнимъ аппаратомъ науки. Но, очевидно, даже и этого не будетъ. Прежде было возможно смѣшеніе искусства и науки. Въ будущемъ это немыслимо. Для подобнаго смѣшенія человѣческая умственная дѣятельность уже слишкомъ высоко развита. Содержаніемъ искусства и поэзіи является чувство, науки—познаніе. Первое—субъективно, вторая—объективно. Первое работаетъ воображеніемъ, т. е. чувствомъ, руководимымъ ассоціаціей идей, второе работаетъ наблюденіемъ, т. е. ассоціаціей идей, опредѣляемой чувственными впечатлѣніями, о приобрѣтеніи и усиленіи которыхъ заботится вниманіе. Области, матеріалъ и методы науки и искусства такъ различны, отчасти даже противоположны, что ихъ смѣшеніе означало бы возвратъ на тысячелѣтія назадъ. Правильно только одно: образы, возникавшіе изъ стараго антропоморфическаго міросозерцанія, указанія на протекшія состоянія и представленія, которыя Фрицъ Маутнеръ назвалъ „мертвыми символами“,—все это изъ искусства исчезаетъ. Я думаю, ни одному живописцу не придетъ въ голову писать картины въ родѣ „Авроры“ Гвидо Рени, и поэтъ вызоветъ смѣхъ, если онъ заставитъ луну, преисполненную любовнаго томленія, заглядывать въ комнатку красивой дѣвушки. Художникъ—дитя своего времени, господствующее міросозерцаніе—это его міросозерцаніе, и при всей его склонности къ атавизму онъ располагаетъ только тѣми средствами выраженія, какія доставляетъ ему современное образованіе. Грубыхъ ошибокъ противъ общепоставленныхъ ученій науки искусство въ будущемъ навѣрное будетъ избѣгать больше, чѣмъ теперь, но наукой оно не будетъ.

Удовольствіе, которое человѣкъ получаетъ отъ искусства, происходитъ изъ удовлетворенія трехъ различныхъ органическихъ склонностей или тенденцій. Онъ нуждается въ возбужденіи, которое получаетъ въ разнообразіи; онъ переноситъ на себя



чувства ближняго и ощущаетъ ихъ съ нимъ. Разнообразіе находитъ онъ въ произведеніяхъ, которыя его ставятъ въ положеніе, вполне отличное отъ извѣстныхъ ему и пережитыхъ имъ. Старательное изображеніе извѣстной ему дѣйствительности доставляетъ ему удовольствіе узнать ее. Его симпатія заставляеть его сочувствовать всякому сильно и ясно выраженному чувству художника среди живыхъ собственныхъ чувствъ. Въ будущемъ, какъ и теперь, найдутся любители фантастическихъ произведеній, переносящихъ читателя или зрителя въ отдаленныя времена и страны или рассказывающихъ ему необыкновенныя приключенія; другихъ будутъ привлекать произведенія, въ которыхъ преобладаетъ вѣрное наблюденіе извѣстнаго; наиболѣе тонкіе и развитые будутъ наслаждаться произведеніями, въ которыхъ имъ открывается душа человѣческая со всѣми глубочайшими ея чувствами и мыслями. Искусство будущаго не будетъ только романтично, или реалистично, или индивидуалистично, но, какъ и прежде, будетъ возбуждать любопытство сюжетомъ, доставлять удовольствіе подражаніемъ извѣстному, привлекать симпатіи раскрытіемъ личности художника.

Два стремленія, вступившія давно уже въ рукопашную другъ съ другомъ, навѣрное, въ будущемъ сдѣланы еще ожесточеннѣе за право первенства: наблюденіе и свободная игра воображенія, короче, конечно не такъ точно: реализмъ и романтика. Хорошіе художники, безъ сомнѣнія, вслѣдствіе своего болѣе высокаго умственнаго развитія всегда будутъ болѣе склонны и способны правильно оцѣнить міровыя явленія и правильно воспроизвести ихъ. Но толпа также, безъ сомнѣнія, въ будущемъ потребуетъ отъ художника чего нибудь иного, чѣмъ картинъ посредственной дѣйствительности. У созидающихъ появится стремленіе къ реализму, у воспринимающихъ—потребность въ романтизмѣ. Вѣдь—и это мнѣ кажется очень важнымъ пунктомъ—искусство въ слѣдующемъ столѣтіи поставитъ себѣ задачей возбуждать въ человѣкѣ впечатлѣніе того разнообразія, которое больше не можетъ дать дѣйствительность и отъ котораго не можетъ отказаться мозгъ. Все то, что называется „живописнымъ“, неизбежно все больше исчезаетъ съ земли. Культура становится все однообразнѣе. Различіе,—признакъ нѣкоторыхъ,—становится для нихъ неудобнымъ и устраняется. Руины доставляютъ удовольствіе для глазъ пришельца, но онѣ стѣсняють туземца и онѣ ихъ убираетъ. Путешественникъ возмущается, видя, что красота Венеціи оскверняется пароходами, а для венеціанца благодѣяніе, что онъ за десять центезимъ можетъ быстро проѣхать значительный конецъ. Скоро послѣдній краснокожій будетъ носить сюртукъ и цилиндръ, установленные закономъ станціи будутъ у великой китайской стѣны и подъ пальмами Сахары блистать своей штукатуркой и своей трезвой формой, знаменитый Маори Маколея не будетъ стоять передъ развалинами Вестминстера, но плохое подражаніе вестминстерскому дворцу будетъ служить Маори парламентскимъ зданіемъ. Йосемитскій паркъ, который сѣвероамериканцы сохраняютъ полные мудрой предусмотрительности нетронутымъ въ его первобытной дикости, не будетъ удовлетво-

рять потребности человѣчества въ новомъ, иномъ, живописномъ, романтическомъ, пока потребуеть отъ искусства того, чего не дастъ больше умытая, причесанная и разряженная культура.

Я могу резюмировать свой прогнозъ въ нѣсколькихъ словахъ. Современная истерія не будетъ вѣчна. Народы оправятся отъ теперешней усталости. Слабые, дегенераты вымрутъ, сильные приспособятся къ напряженности культуры или подчинятъ ее своей собственной органической способности. Извращеній искусства въ будущемъ не будетъ. Они исчезнутъ, когда культурное человѣчество преодолѣетъ свое состояніе истощенія. Искусство двадцатаго столѣтія во всѣхъ пунктахъ будетъ связано съ прошлымъ, но оно получитъ новую задачу: вносить возбуждающее разнообразіе въ однообразіе культурной жизни, вліяніе, которое въ состояніи будетъ произвести наука на огромное большинство людей много столѣтій спустя.

---

## Терапія.

Возможно ли помочь выздоровленію высшихъ образованныхъ слоевъ отъ теперешней болѣзни ихъ нервной системы путемъ соотвѣтствующаго лѣченія?

Я серьезно убѣжденъ въ этомъ и потому только предпринялъ настоящіи трудъ.

Надѣюсь, никто не посчитаетъ меня настолько наивнымъ, чтобы я вообразилъ себѣ, что можно образумить дегенератовъ, если доказать имъ неопровержимо и убѣдительно, что они душевно-больные. Кто по профессіи имѣетъ дѣло съ психопатами, тотъ знаетъ, что совершенно безцѣльны попытки убѣдить ихъ и заставить признать недѣйствительность и болѣзненность ихъ безумныхъ представленій. Единственное, чего достигаютъ, это то, что они видятъ во врачѣ или врага или преслѣдователя и ожесточенно его ненавидятъ, или считаютъ неразумнымъ дуракомъ и смѣются надъ нимъ.

Фанатикамъ безумныхъ модныхъ направленій въ искусствѣ и литературѣ, которые собственно не будучи душевно-больными все же стоятъ на границѣ безумія, также бесполезно проповѣдывать, что они воодушевляются извращеніемъ и суетностью. Они не повѣрятъ этому и не могутъ повѣрить. Въдѣ произведенія, безуміе которыхъ бросается сразу въ глаза всякому разумному человѣку, доставляютъ имъ истинное удовольствіе. Эти произведенія являются выраженіемъ ихъ собственной духовной развращенности и искаженія ихъ собственныхъ инстинктовъ; полудиоты при чтеніи или созерцаніи этихъ картинъ приходятъ въ возбужденіе, которое они считаютъ эстетическимъ, фактически—сладострастное, и это ощущеніе настолько правильно и непосредственно, настолько очевидно, что они могутъ только разсердиться или почувствовать состраданіе, если вы захотите доказать имъ, что произведеніе не доставляетъ наслажденія, а вызываетъ отвращеніе и презрѣніе. Можно доказать пьяницѣ, что водка вредна, но совершенно невозможно убѣдить его, что у нея дурной вкусъ: на его вкусъ она, дѣйствительно, оболстительно прекрасна. Если критикъ-психіатръ попробуетъ увѣрить помѣшаннаго: „Эта книга, эта картина—отвратительный бредъ“, тотъ отвѣтитъ искренно: „Бредъ? Возможно. Но отвратительный? Съ

этимъ я не могу согласиться. Я знаю это лучше: она глубоко трогаєть меня и доставляетъ мнѣ удовольствіе и ничто, чтобы вы ни говорили, не сможетъ перемѣнить этого!" Болѣе разстроенные идутъ дальше и просто заявляютъ: „Мы всѣми нервами чувствуемъ красоту этого произведенія; вы ея не чувствуете,—тѣмъ хуже для васъ! вмѣсто того, чтобы видѣть это, вы, перасудительный варваръ и туноумный филистеръ, хотите оспаривать наши достоинства и вѣрнѣйшія ощущенія. Единственно, кто здѣсь бредитъ, это вы“.

Исторія культуры достаточно показываетъ, что помѣшательства вызываютъ страшное воодушевленіе и на столѣтія или тысячелѣтія достигаютъ преобладающаго господства надъ мышленіемъ и чувствами милліоновъ, потому что они доставляютъ существующимъ стремленіямъ нездоровое удовлетвореніе. Противъ того, что доставляетъ людямъ удовольствіе, не устоять доводы разума.

Тѣхъ дегенератовъ, умственное разстройство которыхъ слишкомъ глубоко, должно предоставить ихъ несчастной судьбѣ. Ихъ ничто, ничто не можетъ спасти и помочь. Нѣкоторое время они будутъ безумствовать, а потомъ погибнутъ. Не для нихъ, очевидно, написана эта книга. Но слѣдуетъ добиваться того, чтобы „ограничить анатомической необходимостью“, по характерному выраженію нѣмецкой медицины, время болѣзни, и къ этой цѣли слѣдуетъ стремиться всѣми силами. Вѣдь теперь направленію дегенератовъ слѣдуютъ кромѣ тѣхъ, кто безусловно обреченъ на это своимъ органическимъ состояніемъ, еще многіе другіе, ставшіе только жертвой моды и нѣкоторыхъ коварныхъ обмановъ, а этихъ блудныхъ можно надѣяться направить на правильный путь. Если, напротивъ, мы бездѣятельно предоставимъ ихъ вліянію графомановъ—дураковъ изъ слабоумныхъ или нечестивыхъ критическихъ тѣлохранителей, то необходимымъ послѣдствіемъ этого игнорированія обязанностей будетъ болѣе быстрое и интенсивное распространеніе умственной заразы, и культурное человечество гораздо труднѣе и медленнѣе исцѣлится отъ современной болѣзни, чѣмъ это возможно при болѣе правильной и организованной борьбѣ со зломъ.

Для легко больныхъ и здоровыхъ, позволяющихъ одурачить себя хитро сплетенными рѣчами или по необдуманному обезьянству спѣшащихъ туда, гдѣ они видятъ толпу, прежде всего нужно доказать, что эстетическія модныя направленія являются результатомъ душевной болѣзни дегенератовъ и истериковъ. Нѣкоторые критики думали заставить меня замолчать, заявивъ: „Если приведенные признаки являются доказательствомъ вырожденія и душевной болѣзни, то искусство и поэзія вообще,—даже когда имъ безъ оговорокъ поклоняются,—произведеніе помѣшанныхъ и дегенератовъ, такъ какъ вездѣ въ нихъ можно найти признаки вырожденія“. На это я возражаю: если бы научная критика, изслѣдующая художественное произведеніе съ точки зрѣнія психологіи и психіатріи, пришла къ выводу, что вся художественная дѣятельность — патологична, то все же это нисколько не доказывало бы неправильности моего критическаго метода. Было бы только приобрѣтено новое познаніе. Правда, разрушился бы золотой об-

мань и многіе были бы огорчены, но наука не может остановиться передъ тѣмъ соображеніемъ что ея выводы уничтожаютъ пріятныя заблужденія и изгоняютъ привычки изъ пріятныхъ мыслительныхъ процессовъ. Вѣра, конечно, обладаетъ еще большимъ могуществомъ, чѣмъ искусство: она оказывала человѣчеству на нѣкоторыхъ ступеняхъ его развитія другія услуги, она утѣшала его иначе и возвышала, давала ему другіе идеалы и поддерживала нравственно его иначе, чѣмъ величайшіе художественные гении; однако, наука не колебалась признать вѣру субъективнымъ заблужденіемъ человѣка, стало быть, у нея будетъ еще меньше сомнѣній въ томъ, чтобы признать искусство чѣмъ-то болѣзненнымъ, если ее убѣдятъ въ этомъ фактѣ. Кромѣ того, не всякое болѣзненное должно быть безобразнымъ и вреднымъ. Выдѣленія чахоточнаго—точное же патологическое явленіе, какъ жемчугъ. Дѣлаетъ ли жемчугъ безобразнѣе, а выдѣленія прекраснѣе то, что оба они имѣютъ общій источникъ? Колбасный ядъ—выдѣленіе бактеріи, этиловый спиртъ—дрожжевого грибка. Но развѣ одинаковый способъ происхожденія обуславливаетъ одинаковый вкусъ ядовитой колбасы и стакана стараго рейнвейна? Ровно ничего нельзя доказать относительно „Крейцеровой Сонаты“ Толстого или „Росмергольма“ Ибсена, признаніемъ того факта, что „Вертеръ“ Гете страдаетъ неразумнымъ эротизмомъ, а „Божественная Комедія“ или „Фаустъ“—символическія поэмы. Но все возраженіе происходитъ изъ знанія простѣйшихъ біологическихъ фактовъ. Между болѣзью и здоровьемъ—разница не по существу, а только количественная. Существуетъ только одинъ родъ жизненной дѣятельности клѣточекъ и клѣточной системы или организма. Онъ одинаковъ въ болѣзни и здоровьи. Только иногда онъ ускоряется, иногда замедляется, и если это отклоненіе отъ правила вредно дѣляемъ всего организма, его называютъ болѣзью. Такъ какъ при этомъ рѣчь идетъ о количествѣ, то точно границы опредѣлить нельзя. Самые крайніе случаи, разумѣется, узнать легко. Но кто съ точностью опредѣлитъ, съ какого именно пункта начинается отклоненіе отъ нормы, т. е. здоровья? Безумный мозгъ работаетъ по тѣмъ же законамъ, что и разумный, но онъ повинуется этимъ законамъ не вполне или преувеличенно. У всякаго человѣка, напр., существуетъ склонность ложно толковать чувственные впечатлѣнія. Болѣзью она становится только тогда, когда она наступаетъ черезчуръ сильно. Бдущему по желѣзной дорогѣ кажется, что онъ видитъ бѣгушіе передъ нимъ пейзажи, тогда какъ онъ самъ неподвиженъ. Страдающій маніей преслѣдованія воображаетъ, что на него направляютъ дурной запахъ или электрической токъ. Оба представленія основываются на обманѣ чувствъ. Неужели, поэтому, оба они являются признаками помѣшательства? Путешественникъ и параноикъ впадаютъ въ одну и ту же ошибку и не смотря на это первый—совершенно здоровъ психически, второй боленъ. Такимъ образомъ, можно спокойно констатировать тотъ фактъ, что нѣкоторыя особенности, — сильная возбудимость, склонность къ символизму, преобладаніе воображенія,—существуютъ у всѣхъ настоящихъ художниковъ. Но откуда далеко еще не слѣдуетъ, что они всѣ дегенераты. Только преобладаніе этихъ особенностей соз-

даетъ болѣзнь. Единственное заключеніе, которое имѣло бы мѣсто, если бы это постоянно встрѣчалось у художниковъ,—это, что искусство, не будучи особенной болѣзвью человѣческаго духа, все же начинающееся, легкое отклоненіе отъ полнаго здоровья, и отъ этого заключенія я не отказался бы, тѣмъ болѣе, что оно никоимъ образомъ не въ пользу собственно дегенератовъ и ихъ настоящихъ патологическихъ произведеній.

Но недостаточно одного утвержденія, что мистицизмъ, эгоизмъ и пессимизмъ реалистовъ—формы умственнаго разстройства. Надо сорвать съ этихъ направлений всѣ привлекательныя маски, которыя они надѣли, и показать ихъ дѣйствительный обликъ въ его ужасающей наготѣ.

Они противоставляютъ здоровому искусству, которое они высмѣиваютъ, какъ затхлое и старосвѣтское,—искусство молодежи. Зловредная критика, въ сущности, попала въ удочку и все время высокомерно звонитъ о своей молодости. Какая несообразность! Какъ будто какое бы то ни было усиліе міра можетъ достигнуть того, чтобы снять волшебный покровъ и превратить въ порокъ, и брать, слово юный, этотъ синонимъ всего цвѣтушаго и свѣжаго, этотъ отзвукъ утренней зари и весны! Но вся суть въ томъ, что дегенераты не только не молоды, но страшно стары. Старость—ихъ желчная кислота на міръ и жизнь, старость—ихъ лепетаніе, вздохъ, бессмысленныя рѣчи и отсутствіе руководящей идеи, старость—ихъ безсильная похоть и ихъ жажда ко всѣмъ запретнымъ возбужденіямъ. Молодость—надежда, молодость—простая и естественная любовь, молодость—наслажденіе собственной силой и здоровьемъ и всѣхъ другихъ людей и птицъ въ воздухѣ, и жучковъ въ травѣ,—а изъ этихъ чертъ у ребячествующихъ дегенератовъ не встрѣчается ни одной.

У нихъ на губахъ слово свобода, когда они говорятъ о своемъ лѣнивомъ „я“, какъ о богѣ, и называютъ это прогрессомъ, восхваляя преступленіе, отрицаютъ нравственность, строятъ алтарь инстинкту, презираютъ науку, выставляютъ единственной цѣлью жизни эстетическое воровство. Но ихъ восклицанія о свободѣ и прогрессѣ—дерзкое кощунство. Какъ можно говорить о свободѣ, когда инстинкты должны быть самодержавны? Вспомнимъ графа Мюффа въ „Нана“ Зола: „Иногда онъ бывалъ собакой. Она бросала ему въ уголь раздушенный платокъ и онъ долженъ былъ ползти на четверенькахъ и подавать его въ зубахъ.—„Принеси, Цезарь!.. Постои, ты, лѣнтяй! Прекрасно, Цезарь, хорошо! Служи!“ И онъ любилъ это униженіе: онъ находилъ наслажденіе быть скотомъ, онъ хотѣлъ опуститься еще ниже, онъ кричалъ: Бей меня! Гавъ! Гавъ! Я дуракъ! Бей меня еще“!, Это свобода „эмансипированнаго“ въ смыслѣ дегенератовъ! Онъ долженъ быть собакой, если безумно функционирующій инстинктъ повелѣваетъ ему быть собакой! А если „эмансипированнымъ“ называется Равашоль и его инстинктъ приказываетъ ему преступленіе,—взорвать на воздухъ домъ посредствомъ динамита, то мирный гражданинъ, спящій въ своемъ домѣ, получаетъ свободу взлетѣть на воздухъ и спуститься на землю въ видѣ кроваваго дождя клочковъ мяса и осколковъ костей. Прогрессъ

возможенъ только вслѣдствіе возрастанія познанія, но послѣднее является работою сознанія и сужденія, а не инстинкта. Прогрессъ означаетъ расширеніе сознанія и ограниченіе бессознательнаго; усиленіе воли и ослабленіе навязчивости инстинктовъ; возвышеніе самоотвѣтственности и подавленіе эгоизма, не обращающаго ни на что вниманія. Кто дѣлаетъ господиномъ человѣка инстинктъ, тотъ не хочетъ прогресса, но самаго позорнаго, унижительнаго рабства, подчиненія разсудка индивида его глупѣйшимъ и саморазрушительнѣйшимъ страстямъ, подчиненіе народа нѣсколько болѣе сильнымъ и могущественнымъ личностямъ. И кто ставитъ удовольствіе выше скромности и навязчивый инстинктъ выше самообузданія, тотъ не хочетъ прогресса, а возвращенія къ первобытному звѣрству.

Регрессъ, возвращеніе назадъ,—вообще это дѣйствительный идеаль этой шайки, позволившей себѣ говорить о свободѣ и прогрессѣ. Она хочетъ быть будущимъ. Это одна изъ ея главныхъ претензій. Это одно изъ средствъ, которыми они ловятъ большинство дураковъ. Но мы видѣли во всѣхъ отдѣльныхъ случаяхъ, что они—не будущее, а самое загложшее, самое баснословное прошлое. Дегенераты лепечутъ и шамкаютъ вмѣсто того, чтобы говорить. Они издаютъ односложные крики вмѣсто того, чтобы строить грамматически и синтаксически расчлененныя предложенія. Они рисуютъ и пишутъ, какъ дѣти, марающія грязными руками столы и стѣны. Они создаютъ музыку въ родѣ музыки желтыхъ восточной Азіи. Они мѣшаютъ всѣ формы искусства другъ другомъ и сводятъ къ первобытной формѣ, которой они обладали до того, какъ развитіе дифференцировало ихъ. Всякая черта у нихъ атавистична, а мы вѣдь вообще знаемъ, что атавизмъ—одинъ изъ самыхъ существенныхъ признаковъ вырожденія. Ломброзо убѣдительно доказалъ, что многія особенности описаннаго имъ типа врожденныхъ преступниковъ—атавизмъ. Легковѣсныя критики думаютъ, что нашли очень серьезное возраженіе, когда они ему съ самоувѣренной улыбкой преподносятъ слѣдующую критику: „Стремленіе къ преступленію должно быть въ то же время вырожденіемъ и атавизмомъ. Но оба утвержденія исключаютъ другъ друга. Вырожденіе—патологическое состояніе: лучшимъ доказательствомъ этого служить то, что выродившііся типъ не развивается, а вымираетъ. Атавизмъ—возвращеніе къ болѣе раннему состоянію, которое не можетъ быть патологическимъ потому, что люди, жившіе въ томъ состояніи, развивались и прогрессировали. Но возвратъ къ состоянію здоровому, хотя бы даже отдаленному, не можетъ быть болѣзнью“. Вся эта тирада коренится въ упорномъ суевѣріи, которое видитъ въ болѣзни состояніе по существу отличное отъ здоровья. Она является хорошимъ примѣромъ путаницы, которую слово можетъ вызвать въ неясныхъ и невѣжественныхъ головахъ. Въ дѣйствительности, нѣтъ такой дѣятельности и такого состоянія въ живомъ организмѣ, которые можно было бы назвать „здоровье“ или „болѣзнь“. Но они существуютъ съ точки зрѣнія всѣхъ отношеній и цѣлаго организма. Одно и тоже состояніе можетъ быть какъ

болѣзнию, такъ и здоровьемъ, смотря по моменту, въ который оно наступаетъ. Заячья губа—правильное, здоровое явленіе у человѣческаго плода на шестой недѣлѣ его жизни. Она—уродство у новорожденного. Въ первый годъ жизни ребенокъ не можетъ ходить. Почему? Потому, можетъ быть, что его ноги слишкомъ слабы, чтобы удержать его? Вовсе нѣтъ. Извѣстныя изслѣдованія доктора Л. Робинзона на 60 новорожденныхъ младенцахъ показали, что они въ состояніи, держаться руками за палку, свободно висятъ до 30 секундъ, упражненіе, предполагающее мускульную силу, относительно столь же значительную, какъ у взрослого. Не изъ слабости они не могутъ ходить, а потому, что нервная система не научилась еще такъ регулировать и согласовать дѣятельность различныхъ мускульныхъ группъ, чтобы быть въ состояніи пѣлесообразно двигать ими: дѣти еще не могутъ „координировать“. Неспособность къ координаціи мускульной дѣятельности называется въ медицинѣ атаксіей. Такимъ образомъ у ребенка—это естественное и здоровое состояніе. Но таже совершенно атаксіей—тяжелая болѣзнь, если она встрѣчается у взрослыхъ, какъ главный признакъ воспаления спинного мозга. Сходство болѣзненной атаксіи спинного мозга и здоровой атаксіи младенца такъ совершенно, что Dr. Френкель <sup>1)</sup> могъ основать на немъ лѣченіе болѣзни спинного мозга; сущность лѣченія состоитъ въ томъ, что больныхъ, какъ дѣтей, учать снова ходить и стоять. И такъ, очевидно, что состояніе можетъ быть болѣзненно и въ то же время можетъ быть возвращеніемъ къ первоначально совершенно здоровому состоянію, и было крайне легкомысленнымъ упрекомъ выставлять Ломброзо возраженіе, что онъ въ преступной склонности видитъ въ одно и то же время вырожденіе и атавизмъ. Паталогическое въ вырожденіи состоитъ именно въ томъ, что выродившіися организмъ не имѣетъ силы подняться до той высоты развитія, какая достигнута родомъ, но на болѣе раннемъ или позднемъ пунктѣ по пути останавливается. Регрессъ дегенерата можетъ достигнуть поразительнаго роста. Какъ физически онъ спускается до степени рыбъ, даже до суставчатыхъ и даже до еще не дифференцировавшихся въ половомъ отношеніи корненожекъ, когда онъ повторяетъ вслѣдствіе расщеповъ на верхней челюсти, жуковъ съ шести раздѣльнымъ ртомъ, вслѣдствіе шейныхъ фистулъ самыхъ низшихъ рыбъ, вслѣдствіе полидактилии рыбъ съ плавательнымъ перьями, можетъ быть даже волосатость червей, гермафродитизмъ бесполоыхъ ризоподъ, также точно и въ умственномъ отношеніи въ лучшемъ случаѣ, какъ высшій дегенератъ, онъ являетъ типъ первобытнаго человѣка каменнаго періода, въ худшемъ случаѣ, какъ пдіотъ, типъ далеко до-человѣческаго звѣря.

Это и есть то, что слѣдуетъ всѣми средствами и неустанно объяснять людямъ съ слабымъ сужденіемъ или неопытнымъ. Прекрасныя названія, данныя себѣ дегенератами, ихъ подражателями и критиками—ложь и обманъ. Они—не будущее, а неизмѣримо

<sup>1)</sup> Dr. S. Frenkel. „Die Therapie atactischer Bewegungsstörungen“ Münchener medizinische Wochenschrift. № 52. 1890.



далеко отстоящее прошлое. Они—не прогрессъ, а ужаснѣйшая реакція. Они—не свобода, а самое безстыдное рабство. Они—не юность и утренняя заря, а истощенная старость, беззвѣздная зимняя ночь, могила и разложение.

Всѣ здоровые и нравственные люди имѣють священную обязанность способствовать охраненію и спасенію еще не слишкомъ больныхъ. Только если каждый исполняетъ свой долгъ, можно задержать умственную заразу. Нельзя только пожимать плечами и презрительно улыбаться. Въ то время, какъ равнодушные утѣшаются тѣмъ, что „ни одинъ разумный человекъ серьезно не станетъ заниматься этимъ безуміемъ“, безуміе и преступленіе дѣлають свое дѣло и отравляютъ цѣлое поколѣніе. ̑

Мистики, но въ особенности эгоисты и неприличныя псевдо-реалисты, являются худшимъ сортомъ враговъ общества. Общество безусловно должно защищаться противъ нихъ. Кто думать вмѣстѣ со мною, что общество естественная, органическая форма человѣчества, въ какой онъ можетъ жить, процвѣтать и развиваться къ болѣе высокой ступени культуры, кто считаетъ культуру благомъ, имѣющимъ цѣнность и заслуживающимъ охраненія, тотъ долженъ безпощадно преслѣдовать этихъ враждебныхъ обществу паразитовъ. Кто вмѣстѣ съ Нитцше мечтаетъ о „свободно рыскающемъ хищномъ звѣрѣ“, тому мы крикнемъ: „Долой изъ культуры! Рыскай подалеже отъ насъ. Будь хищнымъ звѣремъ въ пустынѣ! Довольствуйся собой! Расчищай себѣ дороги, строй хижинны, одѣвайся и питайся, какъ знаешь! Наши улицы и дома построены не для тебя, наши ткацкіе станки работаютъ не для тебя, наши поля воздѣлываются не для тебя. Вся наша работа исполняется людьми, цѣнящими другъ друга, уважающими другъ друга, помогающими другъ другу и умѣющими обуздывать свой эгоизмъ для общаго блага. Для хищнаго звѣря у насъ нѣтъ мѣста и если ты рискнешь появиться между нами, мы безъ милосердія на смерть изобьемъ тебя дубинами“.

А еще рѣшительнѣе слѣдуетъ соединиться противъ грязной свинской шайки профессиональныхъ порнографовъ. Они не имѣють права на ту долю состраданія, которую мы всегда удѣляемъ собственно дегенератамъ, какъ больнымъ, такъ какъ они свободно выбрали свое унижительное ремесло и исполняютъ его изъ корыстолюбія, тщеславія и отвращенія къ труду. Систематическое раздраженіе сладострастія наносить отдѣльному человѣку тяжелый вредъ въ физическомъ и умственномъ отношеніи, а общество, состоящее изъ возбужденныхъ въ половомъ отношеніи индивидовъ, не знающихъ больше ни самообладанія, ни сдержанности, ни стыда, идетъ къ вѣрной гибели, такъ какъ оно тупѣетъ и засыпаетъ для того, чтобы быть въ состояніи выполнить еще болѣе великія задачи. Порнографъ заражаетъ источники, изъ которыхъ течетъ жизнь будущихъ поколѣній! Ни одинъ трудъ для культуры не будетъ такъ утомителенъ, какъ обузданіе сладострастія. Порнографъ хочетъ создать человѣчеству въ этомъ плодѣ величайшее затрудненіе. Къ нему мы не можемъ имѣть никакой пощады.

Полиція намъ не можетъ помочь. Судья и прокуроръ не являются настоящими защитниками общества отъ преступленій перомъ и карандашемъ. Они примѣшнвають къ своему процессу слишкомъ много вниманія къ интересамъ, которые не всегда, не необходимо являются интересами образованныхъ и нравственныхъ людей. Они такъ часто брали сторону привилегированныхъ, обнаруживали такой недостойный византизмъ, что часто ихъ вмѣшательство въ дѣло не позоритъ людей. Но между тѣмъ рѣчь идетъ о томъ, чтобы заклеить порнографа позоромъ, а приговоръ судьи не всегда оказываетъ такое дѣйствіе.

Здѣсь прежде всего должны быть исполнены вниманія и обязанности прессы. Она не должна шадить защитниковъ общественныхъ, безнравственныхъ и извращенныхъ направленій въ искусствѣ и литературѣ. Она не должна допускать того, чтобы ихъ имена стали извѣстны публикѣ, чтобы было обращено вниманіе на ихъ болтовню и грубость, не должно быть оставлено въ неизвѣстности ни одно неосмотрительное соучастіе прессы, и вредъ будетъ устраненъ, подражаніе заглухнетъ.

Но и психіатры еще не поняли своей обязанности. Настало время выступить и имъ. „Это предразсудокъ“,—говоритъ Біанки<sup>1)</sup> совершенно вѣрно,—„что психіатрія въ медицинѣ должна охраняться подобно святилищу въ Меккѣ“. Затвердѣвшій разрѣзь спинного мозга въ хромовой кислотѣ и окрашенный нейтральнымъ растворомъ—вполнѣ заслуженная задача, но этимъ не исчерпывается дѣятельность профессора психіатріи. Недостаточно также того, что онъ нѣкоторые доклады связываетъ съ вопросами права и печатаетъ свои наблюденія въ специальныхъ журналахъ. Онъ долженъ говорить образованной массѣ, не врачей и не юристовъ! Онъ долженъ въ общихъ журналахъ и доступныхъ лекціяхъ сообщать главные факты психіатріи! Онъ долженъ показывать имъ умственное расстройство художниковъ и писателей и научать ихъ тому, что писанныя чернилами и красками модныя произведенія—бредъ! Правда, онъ долженъ будетъ повторить только то, что я здѣсь сказалъ, но онъ не долженъ отказываться отъ этого изъ высокомерія! Нѣмецкій народъ вѣритъ въ высшее начальство. Рангъ и титулъ въ его глазахъ—важныя рекомендаціи. Изложенные мною факты тотчасъ будутъ имъ признаны и приняты во вниманіе, если они будутъ удостовѣрены тайными совѣтниками и профессорами. Во всѣхъ другихъ отдѣлахъ медицины поняли, что гигиена важнѣе терапіи и что общественное здравіе скорѣе охраняется предупредительными мѣрами, чѣмъ лѣченіемъ. Только психіатръ у насъ мало заботится о гигиенѣ духа. Настало время и ему исполнить въ этомъ направленіи свое призваніе. Маудсли въ Англіи, Шарко, Маньянъ—во Франціи, Ломброзо, Тоннини—въ Италіи внесли въ широкую публику пониманіе темныхъ явленій умственной жизни и распространили знанія, сдѣлавшія невозможнымъ въ ихъ странахъ то, чтобы лица съ явно выраженной маніей преслѣдованія приобрѣли вліяніе на сотни тысячъ

<sup>1)</sup> A. G. Bianchi, *La patologia del genio e gli scienziati italiani*. Milano, 1892. S. 79.

имѣющихъ право голоса гражданъ, хотя все-таки они не могли помѣшать войти въ моду искусству дегенератовъ. Только въ Германіи до сихъ поръ ни одинъ извѣстный психіатръ не послѣдовалъ этому примѣру. Эта просрочка должна быть наверстана. Популярныя изложенія, принадлежащая перу специалистовъ, зарекомендовавшихъ себя передъ читателемъ виднымъ общественнымъ положеніемъ, предохранили бы многихъ умственно-здоровыхъ отъ увлеченія направленіями дегенератовъ.

Вотъ лѣченіе современной болѣзни, которое я считаю дѣйствительнымъ: характеристика руководителей—дегенератовъ и истериковъ или больныхъ, развѣнчаніе и клеймленіе подражателей, какъ враговъ общества, предупрежденіе публики о лживости этихъ паразитовъ.

Особенно мы, положившіе задачей своей жизни—бороться со старыми предрасудками, распространять просвѣщеніе, совершенно уничтожать историческія развалины и устранять ихъ обломки, защищать свободу индивида противъ давленія со стороны государства и безсмысленной филистерской рутинѣ, мы должны рѣшительно вооружиться противъ того, чтобы уничтожить жалкихъ похитителей самыхъ дорогихъ намъ лозунговъ, разставляющихъ при помощи ихъ ловушки простакамъ. „Свобода“ и „современность“, „прогрессъ“ и „истина“ этихъ господъ—не наши. Мы ничего общаго съ ними не имѣемъ. Они хотятъ сибаритства, мы—труда. Они хотятъ утолить сознаніе въ бессознательномъ, мы хотимъ усилить и обогатить сознаніе. Они хотятъ водоворота мыслей и болтовни, мы хотимъ вниманія, наблюденія и познанія. Этимъ, очевидно, отличается всякій понимающій истинную современность отъ шарлатановъ, называющихъ себя современными: кто проповѣдуетъ разнузданность, тотъ врагъ прогресса, кто поклоняется своему „я“, тотъ врагъ общества. Послѣднее предполагаетъ любовь къ ближнему и самопожертвованіе, а прогрессъ—дѣйствіе все болѣе твердаго обузданія звѣря въ чловѣкѣ, все болѣе суроваго самообузданія, все болѣе тонкаго чувства долга и отвѣтственности. Эмансипація, для которой мы дѣйствуемъ—это эмансипація сужденія, а не страстей. Скажемъ глубокопроникновенными словами Евангелія (Матѣ., 5, 17): „Не думайте, что Я пришелъ нарушить законъ, или пророковъ: Я не нарушить пришелъ, но исполнить“.

# ОГЛАВЛЕНІЕ.



## Книга первая. Fin de siècle

|                            |               |    |
|----------------------------|---------------|----|
| Сумерки народовъ . . . . . | томъ II, стр. | 11 |
| Симптомы . . . . .         | " " "         | 18 |
| Диагнозъ . . . . .         | " " "         | 26 |
| Этіологія . . . . .        | " " "         | 44 |

## Книга вторая. Мистицизмъ.

|                                       |                |     |
|---------------------------------------|----------------|-----|
| Психологія мистицизма . . . . .       | томъ II, стр.  | 57  |
| Прерафаэлиты . . . . .                | " " "          | 78  |
| Символисты . . . . .                  | " " "          | 109 |
| Толстовство . . . . .                 | " " "          | 151 |
| Культь Рихарда Вагнера . . . . .      | " " "          | 176 |
| Каррикатурныя формы мистики . . . . . | томъ III, стр. | 7   |

## Книга третья. Эготизмъ.

|                                |                |     |
|--------------------------------|----------------|-----|
| Психологія эготизма . . . . .  | томъ III, стр. | 35  |
| Парнасцы и демонисты . . . . . | " " "          | 57  |
| Декаденты и эстеты . . . . .   | " " "          | 83  |
| Ибсенизмъ . . . . .            | " " "          | 121 |
| Фридрихъ Ницше . . . . .       | томъ IV, стр.  | 7   |

## Книга четвертая. Реализмъ.

|                                          |               |    |
|------------------------------------------|---------------|----|
| Зола и его школа . . . . .               | томъ IV, стр. | 57 |
| Подражатели „молодой Германіи“ . . . . . | " " "         | 88 |

## Книга пятая. Двадцатый вѣкъ.

|                    |               |     |
|--------------------|---------------|-----|
| Прогнозъ . . . . . | томъ IV, стр. | 121 |
| Терапія . . . . .  | " " "         | 134 |

